

АЛЕКСЕЙ МАКУШИНСКИЙ

# ПАРОХОД В АРГЕНТИНУ



Алексей Макушинский  
**Пароход в Аргентину**

«ЭКСМО»

2014

## **Макушинский А. А.**

Пароход в Аргентину / А. А. Макушинский — «Эксмо», 2014

«Пароход в Аргентину» – третий роман автора. Его действие охватывает весь 20 век и разворачивается на пространстве от Прибалтики до Аргентины. В фокусе романного повествования – история поисков. Это «роман в романе». Его герой – альтер эго автора пытается реконструировать судьбу Александра Воско, великого европейского архитектора, чья история – это как бы альтернативная, «счастливая» судьба русского человека XX века, среди несчастий и катастроф эпохи выполнившего свое предназначение. Это редкий случай подлинно европейского интеллектуального романа на русском языке.

© Макушинский А. А., 2014

© Эксмо, 2014

# Содержание

Глава 1	6
Глава 2	10
Глава 3	13
Глава 4	20
Глава 5	28
Конец ознакомительного фрагмента.	36

# **Алексей Макушинский**

## **Пароход в Аргентину**

*Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.*

\* \* \*

## Глава 1

*O welcome, Messenger! O welcome, Friend!  
A captive greets thee, coming from a house  
Of bondage, from yon City walls set free,  
A prison where he hath been long immured.*

*Wordsworth<sup>1</sup>*

Когда советская власть, к несказанному нашему изумлению, начала колебаться и внезапные дыры обнаружились в проржавевшем железном занавесе, я отправился в свое первое заграничное путешествие, осенью 1988 года, сначала поездом до Парижа, где прожил месяц, оттуда на попутной машине во Фрейбург, затем в Констанц, в Мюнхен, обратно в Констанц, из Констанца и снова на попутной машине в Дюссельдорф, из Дюссельдорфа, наконец, в Кёльн, где снова сел в поезд, возвративший меня в Москву. Этот второй поезд я помню смутно, зато первый поезд, поезд – туда, в неведомые земли, в свободный мир, запомнился мне на всю, наверное, жизнь – хотя кто может поручиться, что не потеряет со временем свои самые лучшие, самые яркие воспоминания? Однажды записанные, они получают все же чуть больше шансов не погибнуть под завалами того забвения, которое, как песок, замедляет любую жизнь, мою в том числе. Пустыня растет, *die Wüste wächst*, писал Ницше... Из трех человек, провожавших меня на Белорусском вокзале, двоих уже нет на земле. Мы стояли все четверо на, или так мне помнится, залитой золотым осенним светом, хотя и, конечно, заплеванной, в бумажках и окурках, платформе, причем я, уезжавший, хотя еще и не навсегда, но все же так, как если бы этот еще предварительный и в известном смысле случайный отъезд уже намекал на какое-то другое, окончательное, непоправимое расставание, стоял уже словно сам по себе, лицом ко всем остальным, уже отделенный от них невидимой, но отчетливою чертою – что тут же и было отмечено ироничнейшим и, наверное, пронизательнейшим из участников процедуры, – и затем вскочил в поезд с той беспечной легкостью, которую мы так охотно напускаем на себя в молодости, подчеркивая нашу готовность к приключениям и авантюрам, мнимые будущим, отбрасывая прошедшее, расставаясь легко, уезжая в синюю даль. Жизнь, скажем просто, лишь понемногу и постепенно превращается из обещания в сожаление.

Был, разумеется, проводник в этом поезде, еще тот советский проводник международного вагона, тот профессионально безликий проводник, иными словами, в котором весь опыт подневольной жизни приучил нас видеть агента охраны, почему и полагалось его задабривать возможно более щедрым *начаем* – он же и в самом деле не скупясь снабжал всех желающих в течение всего пути классическим железнодорожным чаем в стакане с подстаканником и двумя плоскими кусками сахара с кремлевскими башнями на обертке – неизменный атрибут русского путешествия, одна из уютнейших вещей на земле; вот под предлогом оплаты этого самого, еще не заваренного, не выпитого чая и следовало дать ему рублей десять, а то и все двадцать пять (*всучить четвертной*, говоря языком эпохи), каковая простейшая форма подкупа судьбы и *гебни* имела, впрочем, больше смысла, если вообще имела его, по дороге обратно, когда в чемодане у просвещенного путешественника могли оказаться драгоценные ИМКА-прессовские или ардисовские издания, трехтомник Мандельштама, «Вехи», Бердяев, Замятин; подкупленный же тобой проводник указывал, как считалось, пограничникам и таможенникам в Бресте не на твое купе, а, например, на соседнее, чтобы они его, значит, *шмонали*.

---

<sup>1</sup> Здравствуй, вестник! Здравствуй, друг! Пленик, вышедший на волю из тюрьмы, из-за стен вон того города, где так долго он был заточен, приветствует тебя. Вордсворт (Здесь и далее – перевод автора).

В 1988 году пограничников и таможенников уже интересовали, впрочем, лишь материальные ценности, магнитофоны и синтезаторы, на книги почти уже и не смотрели они (в духовном смысле, следовательно, опережая эпоху, перескочив через перестройку прямиком в девяностые годы). Но и по дороге туда хотелось все-таки избежать *шмона* – от которого врученный (*всученный*) проводнику *четвертной* меня и в самом деле избавил, так что, переждав в Бресте бесконечную смену колес – поднятый с русских рельсов, вагон, я помню, все висел и висел в воздухе, в ничейном и абстрактном пространстве, прежде чем опуститься на европейские, – я уже спокойно мог, точнее – мог бы, ехать по скучной и плоской Польше, целый долгий день, не обошедшийся, увы, без скандальчика, принесший новые волнения, другие волнения. Не знаю, существуют ли до сих пор такие вагоны и такие купе; в ту, теперь уже историческую, эпоху международные вагоны, почти незнакомые простым советским гражданам, были ниже обычных и состояли из узеньких отсеков с двумя полками – одна над другой – и креслом у противоположной стены; рядом с креслом была дверь в пропахшую дешевым мылом умывальную комнатушку, которую обитатели одного купе делили с обитателями другого, и как не вспомнить тут рассказ Бунина, в котором героиня, в волшебном каком-нибудь одиннадцатом году уезжающая с любовником за границу, переходит из одного купе в другое через вот такую же комнатку (в Совдепии, как это ни странно, ни грустно, еще сохранялись какие-то последние, драгоценные отзвуки прошлого – тут же и окончательно отзвучавшие, как только Совдепия рухнула). Героиню, как мы помним, другой любовник, австрийский писатель, застрелил потом в Вене... Купе были первого и второго класса, причем первый превращался во второй, если к двум пассажирам прибавлялся третий, спавший на откидной полке, днем прикрепленной к стене между полками верхней и нижней, на ночь откидывавшейся и повисавшей на подозрительно потрепанных, засаленных холщовых ремнях; три пассажира спали, следовательно, друг над другом, как, наверное, спят в трюме океанского какого-нибудь парохода (плывущего, например, в Аргентину...) самые бедные, бесправные пассажиры. Разница в цене между первым и вторым классом была, кстати, довольно ничтожной. Совершались, однако, какие-то смутные перемещения и перестановки; кто-то почему-то переходил из купе в купе, из вагона в вагон; что-то явно выдумывали, к собственной выгоде, как это вообще им свойственно, проводники. Я ехал сначала не помню с кем, затем почему-то один, затем, уже в Польше, в купе оказался немолодой, бородатый, высокий и важный, взмыленный и наглый грузинский художник, которого я уже и до того видел перетаскивающим из вагона в вагон свои огромные, запакованные в серо-желтую бумагу и грязной бечевкой перевязанные картины, чемоданы, баулы, коробки, с помощью другого, тоже бородатого и по виду тоже художника, но ростом и рангом пониже, да и бородою пожиже, и в сопровождении хорошенькой французской жены с нетихим младенцем, парافразируя Боратынского, на руках. А, это вы с нами едете? спросил художник, воззрившись на меня с таким видом, словно его в высшей, самой высшей, он даже не может сказать, сколь высокой степени удивляет присутствие здесь какого-то очкарика с французской книжкой в руках. Скорее вы со мной, сказал я, отрываясь от Шатобриана. Запахло, в самом деле, скандальчиком. Пропуская в купе всю свою свиту со всеми баулами, всеми картонками, коробками и картинами – уезжали они, видимо, навсегда, – художник потребовал опустить откидную третью полку, чтобы на нее, значит, все это и поставить; я заметил, что мы не в теплушке и что вообще-то я заплатил за первый класс. Запах скандальчика делался все сильнее. В Гражданскую войну и не так ездили, *потерпишь*, ответил художник. Довольно опрометчиво возразил я, что Гражданская война, по моим сведениям, закончилась и что мы с ним не переходили на «ты». Вмешалась француженка. Лак цивилизации (*de la civilisation*) удивительно легко слезает с представителей (представительниц) просвещеннейшей нации, когда что-нибудь им не по ребру. Четвертной, накануне врученный и всученный безлико-угодливому проводнику, возымел свое действие; переселившись с его помощью в другое купе, где чудесным образом обнаружилось свободное место, вполне приятно провел я остаток дня в разговорах с довольно

даже хорошенькой, в кудряшках, веснушках, хотя и насквозь прокуренной, с желтыми страшноватыми пальцами, молодой женщиной (ее пальцы были старше ее самой лет на тридцать...), работавшей, как выяснилось, монтажником на киностудии «Мосфильм», где я и сам когда-то проработал полгода помощником режиссера («хлопушкой») – один из безумнейших и, пожалуй, бессмысленнейших эпизодов моей, как, наверное, и всякая другая, безумной и бессмысленной молодости, – так что нам и в самом деле было о чем, о ком поговорить (посплетничать) с ней, сидя в купе, с проплывавшей за окном плоской Польшей или выходя курить в тамбур, где затхло пахло всеми выкуренными в нем сигаретами, всеми погашенными, раздавленными, в особенное ведро брошенными окурками, и плоская Польша проплывала в грязно-сумеречном, закопченном окошке, – тамбур, в который моя попутчица благородно удалилась без меня, поздно вечером, после того, как мы пересекли отвратительную польско-гэдээровскую границу – *Raßkontrolle!* и фонарем прямо в морду, – проехали невнятную восточную окраину страны реального социализма, обреченного вскоре погибнуть, проехали страшный, темный, как будто брошенный всеми, и людьми, и даже призраками, Восточный Берлин, после очередного *Raßkontrolle* въехали наконец в сияющий всеми огнями свободы Берлин Западный, и за окном на платформе обнаружился мой старинный приятель Манфред Л. с бутылкой шампанского «Мумм» в левой и двумя – крест-накрест – тонконогими бокалами в правой руке, каковое шампанское мы с ним и выпили на коротком перегоне между станциями *Berlin-Zoo* и *Berlin-Wannsee*, где, перед новым впадением поезда в темноту Гэдээрии, он сошел, я же еще минут пять – поезд почему-то не отправлялся – наблюдал из окна, как объясняется он с неизвестно откуда возникшим на совершенно пустой платформе железнодорожным чиновником, почему-то пожелавшим у него проверить билет. Манфред, тогда еще молодой, в потертой кожаной курточке и смешнейших желтых штанах, одной рукой, со все теми же и так же скрещенными бокалами в ней, маша мне, другой свободной рукою все показывал чиновнику, что он билет уже выкинул, точнее – как он выкинул этот билет, вполне, конечно, гипотетический: через плечо, лихим и быстрым взмахом покрасневшей на вечернем ветру руки, с марионеточной быстротой вновь и вновь вылезавшей из короткого, съезжавшего вниз рукава его кожаной курточки; когда поезд наконец тронулся, Манфред все стоял и махал, одной рукой мне, влево вправо, другой через плечо для чиновника, явно ему не верившего, но упорно шарившего глазами по платформе, в надежде, может быть, все-таки обнаружить там этот билет, давно и навсегда унесенный железнодорожным ветром воображенья.

Наутро в окне был уже Кёльнский собор; затем пошла Бельгия, в золотом и багряном полыхании осени показавшаяся мне такой прекрасной, какой никогда уже впоследствии не казалась, и поезд тихо, уже никуда не спеша, не раскачиваясь, окончательно распростившись с русской манерой постукивать на стыках рельсов, плыл вдоль каких-то каналов, или вдоль Мааса, уже не помню, с полыхавшими на солнце кирпичными домиками на другом берегу; и на каких-то станциях, где на мгновение мы останавливались, веселые железнодорожные рабочие, все как один сидевшие на скамейках, явно бездельничавшие, или кутившие, или поедавшие свои бутерброды, вынимая их из фольги, тоже и в свою очередь поблескивая на солнце, кричали стоявшим у вагонных дверей, после въезда в свободный мир тоже как будто подобревшим проводникам, *ça va? ça va?* – как дела, мол? – и проводники, переглядываясь друг с другом, добродушно-презрительно указывая друг другу на дураков-иностранцев, кричали в ответ: *сова, сова, филин, филин...* такое удовольствие получая от собственного нехитрого юмора, что один из кричавших оттуда, с той стороны невидимого, уже дырявого, но еще очень железного занавеса, тоже, в конце концов, стал кричать в ответ что-то вроде: *philine, philine...* полагая, по-видимому, что это по-русски значит: *привет*, или *пока*, или, быть может, *пошел ты...* и менее всего думая, конечно, о незабвенной Филине из «Годов учения», о которой я, невольный свидетель всей сцены, уже не мог не думать в продолжение пути, не только потому, разумеется, что считал в ту пору «Годы учения» самым главным европейским романом и перечиты-



вал постоянно, но прежде всего потому, что и сам еще, в свои тогдашние двадцать восемь лет, на исходе юности, чувствовал себя – не подозревая, что очень скоро перестану себя так чувствовать, – героем «романа воспитания», Вильгельмом Мейстером, отправляющимся в путешествие, на поиски приключений и себя самого, готовым к встрече с любой Филиной, Миньонной, Наталией, с арфистом, Лаэртом и Ярно, участником большого осмысленного движения, в котором все диссонансы, так скажем, обязательно разрешатся когда-нибудь – уже скоро! – всеохватывающей, всеоправдывающей гармонией; и поскольку вагон наш, прицепляемый все к новым и другим поездам, оказался последним, долго, я помню, стоял в заднем тамбуре, глядя на убегавшие, пропадавшие, как бы падавшие куда-то за нами и по-прежнему залитые солнцем холмы, величественно полыхающие леса, сказочный замок и еще один, не менее сказочный; и впоследствии, вернувшись из путешествия, так часто воображал себе, что было бы, если бы я – или *кто-нибудь* – сбежал и выпрыгнул, к примеру, из поезда, или просто сошел на станции, посреди этого мифологического ландшафта, этой кем-то придуманной Бельгии (начало *авантюры*, в средневековом и рыцарском смысле; герой, пускающийся на поиски себя и Грааля...), так часто воображал себе все это, что в конце концов, года, наверное, через два, увидел все это во сне, в одном из тех ярчайших, важнейших снов, каких нам немного отпускается за жизнь, каких в моей жизни было, может быть, только два или три, и в этом сне, когда я пытался открыть заднюю дверь, за которой все так же уносились и уносились в небытие мифологические холмы, возник у меня из-за спины проводник, остававшийся во сне таким же безликим, каким был наяву, и вежливо, вкрадчиво попросил меня дверь не трогать, открыть ее у меня все равно не получится, а главное – он, проводник, обязался и, значит, непременно должен довезти меня до, почему-то сказал он, Лютеции, в которую я к тому же и сам ведь хочу попасть, и правильно делаю: Лютеция, сказал проводник моего сна, окончательно переходя на латынь, – величайший и прекраснейший на земле город, *Lutetia Parisiorum*, сказал и повторил проводник, *urbs grandissima atque pulcherrima est*.

## Глава 2

*I have come to the borders of sleep,  
The unfathomable deep  
Forest where all must lose  
Their way, however straight  
Or winding, soon or late;  
They cannot choose.*

*Edward Thomas*<sup>2</sup>

Я познакомился с Вивианой на третий или четвертый день моего пребывания в Лютеции; мне кажется, мы с первого взгляда не понравились друг другу. М., мой бесконечно дальний родственник, внук сбежавшего в свое время от большевиков двоюродного брата моей бабушки, свел меня с неким Пьер-Полем, а Пьер-Поль уже с Вивианой; все они занимались, смешно сказать, комиксами, с комической, в самом деле, серьезностью относясь к занятию своему. Пьер-Поль, с которым в день знакомства моего с Вивианой сидели мы в относительно, по парижским меркам, дешевой, шумной и проходной пиццерии на углу, если память меня не подводит, площади Сен-Мишель и набережной des Grands-Augustins, был маленький быстрый бретонец, всегда готовый к отпору, к сарказму, весь жилистый, мускулистый, с красивыми движениями худых узловатых рук; рисовал он своих суперменов, угловатых уродцев и ресницехлопающих красавиц так же быстро, зло, иногда не без блеска; из разговора с ним, из разговоров с другими понял я, что мир комиксов, по-французски называемых рисованной лентой, *bande dessinée*, или, в сокращении, *BD* – страсть к снобистским аббревиатурам владела Парижем в ту пору, – что этот дотоле совершенно незнакомый мне мир, поближе познакомиться с коим я, следует признать, не особенно и стремился, что мир этот имеет своих героев, своих гениев, своих святых, подвижников и предателей, своего Шекспира, своего Данте, своего Рафаэля, свои неподражаемые американские образцы и убогие европейские копии, свой авангард и своих консерваторов, своих бунтарей, своих главарей. О каком-то Луиджи с итальянской фамилией говорили они так, словно это был не Луиджи, а Леонардо, и рисовал он не супермена с бэтменом, а Джо-конду и Тайную Вечерю; все они, и этот итальянец, с которым я познакомился после, и Пьер-Поль, и Вивиана, и М., жили не только в своем комическом мире бэтменов-суперменов, карикатурных призраков, закованных в броню негодяев, во все стороны палящих из гипертрофированных револьверов, похождений Джека на Марсе и Боба в Стране Сбывшихся Снов, обведенных кружками выкриков, проклятий, обьятий, углов и изломов, грозных гримас и ужасных улыбок, фантастических городов и гомерических небоскребов, валящихся прямо на вопящих мышках, или котятках, или древних римлян, почему-то перелетевших в стеклобетонное будущее, не только в этом сказочном и комическом мире жили мои приятели, но вообще в мире, казавшемся мне столь же ненастоящим, как их комиксы и вампиры, мире очень парижском, конечно, но все же странно далеком, или так мне казалось, от того Парижа, который тек, искрился, кричал, шептал и горланил на всех языках этой послевавилонской земли за окнами нашей, например, пиццерии. Этот мир, в котором с упоением жили они, был отчасти мир моды, отчасти мир *андеграунда*, тоже как бы переходящего в моду. Собственно, причастность к этому миру – вот что, как я вскорости понял, ценилось в нем всего более. Надо было в самую первую очередь быть причастным, быть своим, быть подключенным, включенным, *branché*, то есть вклю-

---

<sup>2</sup> Я подошел к границам сна, к границам непостижимо глубокого леса, где все рано или поздно обречены заблудиться, каким бы ни был их путь, прямым или извилистым; у них нет выбора. Эдвард Томас.

ченным в игру, подключенным к тем незримым и живительным источникам энергии, которые даруются участием в игре и в то же время даруют силы участвовать в ней. Словечко *branché*, тогда и по-прежнему модное, и означает, собственно, подключение к электрической сети; словечко это было, впрочем, тогда еще модно переворачивать, переставляя в нем слоги, *branché* превращая в *chébrun* – страсть не только к аббревиатурам, но и к хулиганской перестановке слогов владела в ту пору Парижем. Получался особенный язык, которому я с удовольствием учился в мой первый парижский приезд, язык, называемый, вернее, сам себя называвший и называющий *verlan* – перевернутое *l'envers* («наоборот»). В сущности, это очаровательно, казалось мне, и Верлен где-то рядом... Другое словечко, которому тут же научили меня новые мои приятели, словечко для них необыкновенно важное, было – *BCBG*, или *bécébébé*, аббревиатура от *bon chic bon genre*, что мы (примерно) переведем как «шик и стиль». Все шикарное, все стильное должно быть у счастливиц, подпадающих под это определение, ботинки от *Bally* у мужчин и у женщин сумочки от *Hermès*. Это не совсем то же самое, что *branché*, хотя одно с другим, разумеется, связано. Быть *branché* (или даже, черт побери, *chébrun*) можно с помощью двух или трех шарфов, лихо повязанных один поверх другого (вообще, «Париж – это шарф», по незабываемому определению одной остроумной дамы); для *BCBG* (*bécébébé*) требуется уже совсем иная материальная база, которой ни у кого из моих приятелей и приятельниц не было. *Branché* они, значит, были; *bécébébé* быть стремились; так, кажется, и не стали. Все это можно было бы принять, полюбить, если бы не слишком очевидная неискренность, слишком часто проскальзывавшая в их словах и намеках, быстрых взглядах, скрытых улыбках. Им было мучительно важно, кто как одет, кто как себя ведет, кто как ест, кто с кем знаком, кто какие имена называет, но ни за что, ни под какими пытками не признались бы они, что это им важно. Царственную небрежность, равнодушие к мелочам жизни, достойное любого небожителя, аскета или святого, разыгрывали они передо мной и собой, на самом же деле следили за этими мелочами косым, внимательным, недоброжелательным взглядом, так что когда в упомянутой пиццерии на углу набережной и *Place Saint-Michel* я, отлично справлявшийся до тех пор с советскими серыми макаронами, но не имевший еще ни малейшего опыта по намазыванию на вилку спагетти, сделав опрометчивый заказ, очутился сидящим перед огромной тарелкой этих самых, причем длиннейших, спагетти, плававших в омерзительно-хлюпком и брызгучем помидоровом соусе, Пьер-Поль не только отказался помочь мне добрым советом в деле гастрономической европеизации впервые вырвавшегося на волю бывшего ученика средней общеобразовательной школы номер такой-то, но произнес, с типично французскими, как будто отстраняющими что-то движениями своих красивых жилистых рук, небольшой монолог на тему о ничтожестве всего земного, сам при этом, понятное дело, быстрым, острым, поблескивавшим от наслаждения глазком следя за моими *faux-pas*, как бы внутренне кивая им и поддакивая, ничего другого, мол, и не ждали мы от русского медведя, *ours russe*, довольный ими, как все мы бываем довольны, когда ожидания наши оправдываются и надежды сбываются; появление Вивианы положило конец моим мукам.

Она не собиралась ужинать с нами, она пришла, чтобы выпить кофе, поговорить с Пьер-Полем о деле – и затем бежать дальше, куда-то на Монпарнас. Ей было в ту пору уже, но немного еще за тридцать; красивой она не показалась мне; хотя нетрудно было себе представить, какой успех имеют у каких-то других мужчин, увы, не у меня, ее выдающиеся смуглые скулы, впалые щеки, черная челка. На меня и мои еще не совсем доеденные спагетти тоже зыркнула она диким, косящим, как у кобылицы, взглядом; что-то породисто-дикое было, пожалуй, во всем ее облике. *Branché* и *chébrun* была она при всем при том в такой степени, о какой ее приятелям и мечтать, наверно, не приходилась; вся была в шарфах и цепях; всегда в том особенном возбуждении, которое дается подключением к электричеству моды, источникам шика. Она же и занималась, помимо пресловутых комиксов, модой; рисунками для модных журналов; собственными какими-то фасонами (*les créations de Viviana*). Ее зовут Вивиана с ударением на

последнее «а», можно и на первое, ей все равно, но ни в коем случае не Viviane, не Vivienne. Кто называл ее Viviane и Vivienne, тот был, очевидно, ее враг на всю жизнь. И не Vivonne, вставил я. Такого имени вообще нет, непонятно, что я имею в виду. Так Пруст назвал речку, протекавшую сквозь мифологический ландшафт его детства... По наступившему молчанию я понял, что лучше мне было не говорить этого. Viviana, короче, Viviana Vosco, вот так, не иначе. Viviana – имя испанское, с другим ударением. Она испанка? Нет, француженка, ответила она очень решительно, зыряка диким глазом. Ее мать испанка, точнее латиноамериканка, еще точнее – аргентинка. А отец русский, Alexandre Vosco (имя, по тогдашнему невежеству моему, мне ничего не сказавшее, смешно даже вспомнить...), на самом деле – Александр Николаевич Воскобойников (Alexandre Nikolaevitch Voskoboïnikoff). Тут уж я не мог удержаться, я помню, от смеха. Что здесь смешного, она не понимает. Ее отец, Александр Николаевич Воскобойников, превратился во Франции в Alexandre Vosco, вот и все тут, и смеяться тут нечему. Да нет, я только рад, сказал я. Я же понимаю, что ни один француз фамилию Voskoboïnikoff выговорить не в состоянии... Вот это верно, заметил Пьер-Поль. Она родилась в Буэнос-Айресе, ее родители переехали, если угодно – вернулись, в Париж, когда ей было три года. Она не говорила, как выяснилось, ни по-русски, ни по-испански; при аргентинской маме и русском папе ее единственный шанс стать француженкой, или так казалось ей, когда она училась в лицее, заключался в том, чтобы как можно скорее забыть и тот язык, и другой, хотя и на том, и на другом родители говорили с ней в детстве. Удалось ей это так хорошо, что теперь, кроме слов *couritsa*, *capousta* и *avtostrada*, она ничего по-русски не помнит. Расплатившись, мы пошли все троим по узкой и людной rue Saint-André des Arts, мимо еще и еще каких-то ресторанов и столиков, мимо того дома, где жил в детстве, впрочем, совсем недолго, Бодлер, куда его мать переехала с ним после смерти его отца, чтобы вскорости выйти замуж за генерала (в то время еще не генерала) Опики (Aupick) и вновь переехать (на rue du Bac),

каковые переезды можно считать прообразом и предвестьем его грядущей бездомности, а замужество матери, по единогласному и неизменному утверждению всех биографов, – первой большой катастрофой в той серии катастроф и несчастий, к которой свелась, в конечном итоге, жизнь любимого нашего, мне в Париже на каждом шагу приходящего на память поэта... Мы затем еще раз встретились с Вивианой в какой-то большой компании (недалеко от считавшегося тогда еще новым Центра Помпиду, с его пресловутыми трубами и прочими внутренностями, вынесенными наружу; мечта о динамите рождается в душе моей всякий раз, когда я его вижу); говорить с ней мне было, в сущности, не о чем. Тем более я был удивлен, когда она вдруг пригласила меня, вместе со все тем же Пьер-Полем, все тем же моим бесконечно-дальним родственником М., еще с кем-то, на ужин к себе домой, между делом и как бы в придаточном предложении сообщив мне, что пригласила и своих родителей, по их просьбе, поскольку ее отец, Alexandre Vosco, он же Александр Николаевич Воскобойников, уже несколько десятков лет не выдавший ни одного человека *оттуда*, тоже хочет со мной познакомиться.

## Глава 3

*Ein Zeichen sind wir, deutungslos.*  
**Hölderlin<sup>3</sup>**

Мне было двадцать восемь лет, как уже сказано, я впервые вырвался на вожделенный Запад, в страну святых или совсем не святых чудес, и почему не признаться, что «Макдоналдсы» и «секс-шопы», джинсы и пиджаки, парижский шик, *chic parisien* (*chic parisien*, мсье, ска-зала мне рассерженная маленькая продавщица, которой надоел я своими поисками гармонии дешевого и прекрасного, *chic parisien*, мсье, начинается с тысячи франков...), большие магазины возле Оперы, *Galerie Lafayette* и чудесный английский *Marks and Spencer* (ответ пижона Марксу и Энгельсу...) – что все это занимало меня если не больше, то уж точно и не меньше, чем Нотр-Дам и Версаль, Монмартр, *Musée d'Orsay*, или – что обидней всего – возможность встретиться и поговорить с теми исчезающими людьми, которых в мой следующий, к примеру, приезд, в 1994 году, в отличие от Нотр-Дам и Версаля, уже не было на земле – или они так за это время состарились, что уже стало им не до наших вопросов. Я не понимал, короче, в свои глупейшие двадцать восемь, что это мой последний шанс, что еще живы, но будут живы уже недолго, последние эмигранты, еще знавшие и, как сокровище, сберегавшие в себе потонувшую Атлантиду. Александру Николаевичу Воскобойникову, в тот единственный, чего не могу простить себе, раз, когда я встречался и разговаривал с ним, было, если я правильно считаю теперь, восемьдесят семь лет; выглядел он прекрасно (на восемьдесят...). Скорее, он выглядел так, что я вообще не подумал об его возрасте. Моему собственному отцу, когда я родился, было почти пятьдесят; я всю жизнь считал себя поздним ребенком. Вивиана была, следовательно, ребенком еще более поздним... Никак не могу вспомнить теперь, где она в ту пору жила; помню только, что мы мучительно долго ехали к ней с Пьер-Полем, мучительно долго пересаживались на *Châtelet*, скорее, даже не пересаживались, но застряли в этом ужаснейшем из парижских подземелий, на переполненной платформе, в еще не панической, но уже звереющей давке, поскольку поезд, из-за, кажется, забастовки, запаздывал, или вообще поезда отказывались ходить, или только раз в полчаса, сжавившись, куда-нибудь шли, на станцию же, в час пик, толпа набилась такая, что было уже не уйти и не выйти, но можно было только стоять и стоять, переминаясь с ноги на ногу, в надежде, что поезд все-таки придет наконец, но без большой надежды в него втиснуться, если придет он, стоять и стоять так, в этой равнодушно-мрачной, все более мрачной толпе, сжимавшей тебя со всех сторон и боков, пыхавшей тебе табачным дымом прямо в ошалевшую морду – в парижском метро тогда еще можно было курить; – и надо всем этим, подобно трем Ниагарам, ревели три сумасшедших рок-бэнда, с изуверской основательностью расположившиеся на обоих концах и посередине платформы, со всеми своими динамиками, ударниками, шнурами, электрогитарами, причем дело явно не шло уже о собирании добровольной дани с обезумевшей публики, которая с радостью, наверное, заплатила бы им всем, чтобы они наконец заткнулись, но о том и только о том, чтобы перереветь друг друга, заявить о себе, удостоверить свое существование в подземном и просто мире, в металлическом хаосе, в электрических вихрях; к Вивиане, в конце концов, приехали мы с часовым опозданием, в мыле и злобе, разобранные на детали, части, отдельные винтики.

Шестидесятипяти– или -шестилетняя в ту пору, еще очень красивая, Мария Воско, *m-me Marie Vosco*, вторая, как я впоследствии выяснил, жена А.Н.В. и мать Вивианы, являла собой тот ярко выраженный испано-латиноамериканский тип женщины, в котором почти античная правильность лица и фигуры сочетается с хрипловатой живостью интонаций, внезапной рез-

---

<sup>3</sup> Мы – знак, не поддающийся толкованию. Гельдерлин.

костью жестов, вообще с какой-то подростковой, угловатой ужимкой, выводящей такое лицо, такую фигуру из опасной близости к маске и статуе. На ней, я помню, был синий блейзер с золотыми пуговицами и спортивно-теннисною нашивкой на нагрудном кармашке, приподнятом ее высоким и полным бюстом; блейзер, не совсем, показалось мне, сочетавшийся с повязанной поверх белой блузки пестрой косынкой; курила она, отодвигая от себя руку в кольцах, длинные тонкие пахитосы, вставленные в короткий мундштук. А.Н.В. тоже был в блейзере, без всякой нашивки, в шейном платке с классическими загогулинами, индийскими огурцами и, как я заметил, когда он легко, хотя и опираясь на трость, встал из-за стола, в вельветовых, потертых и под коленками пузырящихся брюках, при этом в явно очень дорогих и хороших рыжих ботинках, с классическим, опять же, узором из недопробитых дырочек на острых носках; если бы ему не было столько лет, сколько было, я подумал бы, что эти потертые вельветовые штаны с синим блейзером есть небрежность намеренная, небрежность как составная часть элегантности (как оно и было, конечно, в случае его еще совсем не старой жены); возможно, впрочем, что у него это была уже просто усталость, равнодушие к сиюминутной жизни с ее привычной, давно надоевшею чепухой. Равнодушия и усталости в нем, впрочем, почти и не чувствовалось; глаза были молодые, живые, с насмешливой, даже, пожалуй, шальной искринкой, игринкой, только сплошь какие-то темные; зрачок почти сливался в них с радужкой, как если бы художник-импрессионист рисовал эти глаза, презирая линии, работая только цветом (побочное, может быть, следствие глазной операции, перенесенной им незадолго до этого). Был при этом темноволос, даже почти не сед, с едва наметившимися залысинами; говорил с легкой задержкой, заминкой, не доходившей, впрочем, до заикания, как бы вдруг задумываясь над каким-нибудь случайным словом, предлогом или союзом, сам не зная, стоит ли произносить его или выбрать какой-то другой союз, другой какой-то предлог. Нос у него был во всех смыслах выдающийся, массивный, горбатый, уверенный в себе, чуть расплюснутый на конце. Он сам был роста не огромного, но все же очень внушительного; был не толстый, но весь какой-то широкий, с широкими плечами, широким лицом, широкими ладонями, даже широкими пальцами; сидя во главе стола, возвышался над всеми, смотрел на всех на нас сверху вниз, и явно с привычкой смотреть сверху вниз, немного как на детей – а мы и были, наверное, детьми для него, – и с очень доброжелательной, но все же усмешкой, от сплошных темных глаз спускавшейся к подбородку в каких-то, я подумал, благородно-собачьих складках. Лицо его назвал бы я, пожалуй, простецки-породистым; не исключаю, впрочем, что многочисленные его фотографии, которые довелось мне видеть впоследствии, накладываются теперь на это первое и единственное мое воспоминание о нем.

Он не курил. Как выяснилось, он вообще никогда не курил – свойство души и характера (с легкой заминкой сказал он), которое Вивиана у него унаследовала. Все прочие курили, и много курили; с тех пор все, кажется, бросили. Пачка «Столичных», извлеченная мной из кармана, произвела должное впечатление. Мой бесконечно дальний родственник М. долго вертел в руках сигарету, мял ее, нюхал, наконец, закурил, постарался не поморщиться, сказал, что – очень интересно, *très interessant*. Для некурящего А.Н.В. *très interessant* была сама пачка. *Cigarettes*, сказал он, *сигареты*; он не знает такого русского слова, он знает только *папиросы*, *les papirosses*. Я объяснил ему разницу, как мы теперь понимаем ее. Мои объяснения не убедили его, показалось мне. Он все-таки знает только папиросы, *les papirosses*, повторил он, поворачивая широкими пальцами пачку, столь хорошо мне тогда знакомую (с кружком из звездочек посередине и виньетками в стиле сталинского рококо на отгибающейся крышке), рассматривая ее с тем сосредоточенным, отключающим все прочие звуки и впечатления вниманием, при котором мы словно выпадаем на мгновение из жизни и которое казалось мне в юности не единственной, но едва ли не важнейшей предпосылкой и любого художества, и вообще возможности эту жизнь как-то осознать и увидеть, следовательно, ее вынести. Это первая пачка русских папирос, которую он видит за очень долгие годы. Я предложил ее подарить ему. Только пачку,

сказал он, содержимое не интересует его. Я не стал все-таки вынимать оставшиеся сигареты и куда-то их перекладывать, уже не чувствуя себя в силах курить продукцию фабрики «Ява» в прекрасной Франции, на родине «Голуза».

Из общего разговора понял я, между тем, что он архитектор (я сам, наверное, и не спросил бы его, чем он занимался в жизни, по тогдашней моей робости, тогдашнему равнодушию...), и даже знаменитый архитектор (известный, поправил он, не будем преувеличивать); я сказал на это, я помню, что как раз в тот день утром, в огромном – и слишком шумном для книжного магазина – книжном магазине на Елисейских Полях рассматривал огромный же, и дорогий, альбом, посвященный современной архитектуре, и в нем наткнулся на не огромный, но все же большой раздел о La Grande Motte, курортном городе и порте, созданном в шестидесятых годах на пустом месте, на границе Камарга и Лангедока, архитектором Жаном Балладюром (Jean Balladur) – редкий, показалось мне, пример современной, отчасти марсианской, конечно, архитектуры, перед и посреди которой ты, наверное, не чувствуешь себя комиксовым котенком в тени всепобеждающих небоскребов. А.Н.В. рассмеялся довольным смехом, шальными глазами посмотрев на Марию. Он хорошо знаком с Балладюром, построившим этот *город у моря* (он, показалось мне, подчеркнул и выделил голосом что-то, но я не понял тогда, что именно); давно не видел его, года два; а вот сегодня утром тот как раз позвонил. Так всегда бывает, сказал он; жизнь состоит из таких совпадений. Madame Marie, я помню, кивнула, как будто подтверждая, что, да, позвонил, да, сегодня, да, состоит. И да, он тоже считает, что это архитектура удачная, соразмерная, скажем так, человеку, хотя среди здешних снобов и принято при упоминании о La Grande Motte презрительно кривиться и морщиться. Балладюр цитирует пирамиды, которые видел в Мексике; идея ему очень близкая, сказал А.Н.В.; потом, я помню, с непоказным удовольствием сосредоточился на приготовленном его дочерью ужине, на мой вкус, почти несъедобном – какие-то вареные овощи, с преобладанием квелой морковки, плававшие в жидком бульоне – французское, будто бы, национальное блюдо...; когда ужин, к моему облегчению, закончился, когда уже и сыр был съеден, и традиционный, как раз очень вкусный, перевернутый яблочный пирог (*tarte tatin*) съеден тоже, и прочие участники сцены пересели на диван и в кресла, чтобы там продолжить свой вечный разговор о том, кто *branché*, кто не *branché*, а также – с истинно французской способностью и привычкой бесконечно долго, бесконечно всерьез говорить о еде – о том, кто как готовит вот этот самый *tarte tatin*, только что съеденный нами, и о том, что на углу улицы такой-то и такой-то, скажем, *rue Mouffetard* и *rue du Pot de Fer* (улицы железного горшка; вот название...) есть забегаловка (*brasserie*), где подают замечательный луковый суп, а вот в дорогой и знаменитый своим луковым супом ресторан возле Les Halles (бывшего Парижского чрева...) ходить как раз не надо, там только обманывают туристов и вообще дурят голову нашему брату, – когда, следовательно, разговор обо всем этом, с благосклонным, чуть ироническим участием *m-me Vosco*, продолжился на диване и в креслах, мы остались наконец с А.Н.В. одни за столом и перешли наконец на русский – вернее, он, чуть отодвинувшись от стола и ногу (в рыжем ботинке и в показавшемся из-за верх поехавшей брючины длинном, в ромбах, в свою очередь съехавшем вниз и готовым собраться в складки носке...) закинув за ногу, вдруг заговорил со мною на том чистом, без советских провинциальных примесей и мещанских ужимок, эмигрантском русском языке, на котором уже давным-давно никто не говорит, как известно, в России. Всю жизнь обречен я искать в себе этот русский язык, искать его по крайней мере вот здесь, на бумаге и в рабочих тетрадях. А.Н.В. знал со слов Вивианы, что я пишу что-то (роман); это был тот самый роман, который писал я с 1985 до 1994 года и в 1998 году опубликовал наконец под названием «Макс» (по имени главного в нем персонажа). Он спросил меня, где происходит действие; в согласии с истиной ответил я, что – в Москве, не очень, впрочем, похожей на Москву настоящую, скорее в Москве моего собственного изобретения и производства, а также, сказал я, в Прибалтике. Где в Прибалтике? тут же переспросил он. В самом романе, ответил я, это не сказано, но знающий

человек догадается, что в Латвии, в одной из тех рыболовецких деревень, которые, не вплотную примыкая друг к другу, отделенные друг от друга прибрежным сосновым лесом, тянутся вдоль линии берега; чтобы попасть туда, к примеру, из Риги, надо проехать на электричке всю Юрмалу, пересестись на автобус в Слоке и довольно долго еще на нем ехать, по шоссе, в свою очередь тянущемуся вдоль линии берега, отделенному, впрочем, от моря все тем же сосновым лесом, ближе к берегу переходящим, разумеется, в дюны. Я потому, наверное, ответил так подробно, что чувствовал на себе его сплошной темный взгляд; не будь этого взгляда, ограничился бы простым указанием, что – в Латвии, что – у моря. Вы там жили или живете? Я ответил, в согласии, опять-таки, с истиной, что каждое лето живу в такой деревне у моря, что в детстве жила подолгу в так называемом доме писателей в Дубулты, или Дубултах, как все всегда говорили, – это Дуббельн, тут же сказал он, – и что вообще вся моя жизнь как-то связана с этими местами, этим краем земли. Моя тоже, сказал он, на этот раз без улыбки. Он знает Дуббельн, ему ли не знать? Он жил в детстве в соседнем поселке, в Майоренгофе – это Майори, в мою очередь сказал я ему – да, в Майоренгофе, сказал он, не расслышав или не желая слышать моего замечания, каждое лето. Он родился и вырос в Риге, как выяснилось, в русской и немецкой семье. Отец был русский, а мать была балтийская немка. А он сам был одно время латыш, гражданин Латвийской Республики. Он и учился, кстати, в рижском Политехникуме; слышал ли я о таком? Я сказал, что слышал, но не знаю, где он находится. Там, где теперь должен быть университет, он ответил. Политехникум уже и был частью университета, когда он учился там. То же здание, очень величественное. Собственно, на бульваре Наследника, переименованном затем в бульвар Райниса, если вы знаете, кто это. Я знаю, сказал я. Я все свое детство смотрел на картину «Ян Райнис в горах», висевшую в библиотеке писательского дома в Дубултах (Дуббельне). Это здание Политехникума построил Густав Хильбиг, первый декан архитектурного факультета; мои родители еще были знакомы с ним, сказал А.Н.В., вновь беря в руки пачку «Столичных», рассматривая звездочки и виньетки. С одной стороны парк, с другой бульвар и канал. А маленькие улочки по бокам назывались одна – Архитекторская, другая – Инженерная; символы его жизни. Он может нарисовать это здание по памяти, вот сейчас. Что он и сделал, отодвинув «Столичные», вытащив из кармана пиджака черный блокнот и карандаш из какого-то другого кармана, быстрыми и легкими штрихами (Пьер-Поль, оторвавшись от разговора о *tarte tatin* и луковом супе, заглядывал ему через плечо); карандаш казался крошечным, ломким в его широких и плоских пальцах; оконные арки вырисовывал он с какой-то детской старательностью, одно окошко, за ним другое, в то же время словно посмеиваясь над своей старательностью, над собою самим. Он в детстве так много раз рисовал все это, что навсегда, конечно, запомнил. А восхитительный югендстиль на Елизаветинской улице, вы его знаете, вы там бывали? Мы там жили неподалеку... Помните синий дом с большими масками на фронтоне? Большими, повторил он, показывая руками что-то огромное, совсем большими, непропорционально, в сущности, большими барельефными масками по краям фронтона? Ребенком я прямо дружил с этими масками, нарочно ходил смотреть на них. Будете в Риге... непременно буду, сказал я... сходите и посмотрите. Михаил Эйзенштейн построил этот дом, между прочим, отец советского режиссера. Это он для вас, может быть, отец режиссера, вдруг вставил А.Н.В. с насмешливым вызовом, а для меня режиссер – сын великого архитектора. Он рисовал теперь в своем черном блокноте какие-то волнистые линии, выющиеся узоры, абстрактные завитки... А статуя Свободы стоит еще? Он помнит, как ее ставили, в середине тридцатых годов. Он уже не жил тогда в Риге, он переехал в Париж в конце двадцатых (он не сказал почему). А в последний раз был в Риге в тридцать девятом, перед самой катастрофой (он снова не сказал ни почему, ни зачем). В народе статую называли Милдой, сказал он только. И до сих пор называют, сказал я. А знаю ли я, как немцы ее прозвали, когда в сорок первом году опять вошли в город? Знаю, коньячной дамой, сказал я. *Cognac dame*, сказал он. А знаю ли я почему? Потому что три звездочки. Шутники были... Он вдруг засмеялся так громко и



резко, что из кресел и с дивана повернулись к нам все, кто там был (марионетки, дернутые им за веревочки...); тут же, впрочем, возвратились к собственному своему разговору. Я эту шутку знаю с детства, сказал я. А между прочим, Сталина, когда он присудил сам себе третий по счету орден Ленина, называли «маньяк три звездочки», что было уж, наверное, поопасней, чем называть коньячной дамой рижскую статую Свободы. Об этом ему говорить не хотелось; хотелось, я видел, говорить еще о Риге, о Взморье. А в его детстве, сказал он без всякого перехода, были такие плетеные кабинки на пляже, очень узкие и высокие – он показал взлетевшими к потолку руками, какие узкие, какие высокие, – даже не кабинки, но такие скамейки, с трех сторон и сверху прикрытые прутьями от ветра и посторонних взглядов; потом они, конечно, исчезли. А богатых дам завозили в море прямо в каретах, море ведь было мелким – оно таким и осталось, сказал я, – вот они и ехали в этих каретах до глубокого места, карета поворачивалась, и дама, прикрытая ею, плюхалась прямо в воду... Глаза его были все такие же сплошные, темные, смеющиеся, живые; пачку «Столичных» не выпускал он из широких и бледных рук. У его родителей была дача в Майоренгофе, большая, двухэтажная, чудесная, деревянная, с мезонинами, с башенками, посреди сосен; теперь она сгорела, наверное. Может быть и нет, сказал я, там таких домов много. И был мальчик, говорил он, на меня не глядя, обращаясь к пачке «Столичных», с которым он дружил в детстве, играл на пляже каждое лето. Володя Граве звали этого мальчика. Они только летом дружили, этого Володю Граве привозили из Петербурга, родители его были богатые знатные люди, не чета моим, говорил А.Н.В. Мой отец служил на железной дороге. А его отец был чуть ли не доверенное лицо государя. И потому мои родители подолгу жили в Майоренгофе, а его только приезжали на две-три недели, а потом уезжали в Биарриц или еще куда-то, в Швейцарию. Почему-то они часто ездили в Швейцарию, в Давос, или еще куда-то, у его матери было что-то, кажется, с легкими. А ему не хотелось никуда ехать, продолжал А.Н.В., уже явно разговаривая не со мной, но со «Столичными» и с собою, и потому, наверное, не хотелось, что я был его единственным другом, во всяком случае в детстве, или так мне казалось. Потом, у взрослого, у него всегда было много друзей, и приятелей, и вообще людей вокруг него, а ребенком он был одиноким. Даже братьев и сестер у него, по-моему, не было. Так бывает, что одинокие дети, когда вырастают, становятся людьми самыми общительными, самыми, как теперь говорят (он поискал и нашел слово, после легкой запинки), самыми, вот, компанейскими. Может быть, это я все придумал себе, я не знаю. У меня-то друзей и тогда было много, а ближе все-таки не было никого. Расставались мы всякий раз патетически. А вот вы ни за что не догадаетесь, сказал он, глядя вдруг мне прямо в глаза, ни за что не догадаетесь вы, когда и где мы с ним, через много лет, встретились.

Как ни был я в ту пору нелюбознателен, я все же не мог, разумеется, хотя бы из вежливости, не спросить его, где и когда. А.Н.В., я помню, помедлил с ответом (как сделал бы любой опытный рассказчик, стремящийся заинтриговать своих слушателей; А.Н.В., мне кажется, заинтриговать меня не стремился, а если чуть-чуть стремился, то как бы лишь по привычке, на самом же деле просто думал о другом, о своем); легко поднявшись, сходил в уборную; возвратившись, усевшись, объявил Марии, что нет, еще не поздно, он не устал, он хочет еще говорить по-русски; еще не наговорился. Вивиана (вот вспомнил!) выключила большой верхний свет; остался гореть торшер в углу за диваном; остались еще какие-то маленькие лампочки, расставленные по углам и по стенам; свет на А.Н.В. падал сбоку, обыгрывая благородно-собачьи складки его подбородка... Да, был такой пухленький мальчик, в нашем летнем детстве, на концертах в Эдинбурге, на пляже в Майоренгофе, Володя Граве, очень ухоженный, избалованный боннами; по вечерам ходил с большим бархатным бантом, над которым было нелегко не смеяться... А те места, где вы теперь живете, говорил А.Н.В., на меня не глядя по-прежнему, эти рыбацкие поселки в Курляндии, мы их видели вместе, не помню в каком году, году в тринадцатом, может быть, или уже в четырнадцатом, перед самой войной. Я, впрочем, и после бывал там, но впервые с Володей там оказался. Наши папы и мамы, говорил он, улыбаясь своими

складками, вертя в руках пачку «Столичных», затеяли большую, как бы сказать это, *partie de plaisir*, в открытых экипажах, вдоль моря. Эта *partie de plaisir* обернулась целым путешествием, растянувшимся на несколько дней. Хорошо помню маршрут наш. Мы сначала доехали до того места, где Рижский залив встречается с собственно морем и волны – удивительное зрелище! – словно кидаются друг на друга, потом, все так же по берегу, добрались до Виндавы, потом поехали к моему дедушке, в его имение под Газенпотом... Газенпотом? переспросил я... по-латышски это Айзпуте, объяснил он... название, которое ничего мне тогда не сказало. А ваш дедушка?.. У дедушки и бабушки там было имение, ответил он очень кратко. А уж на пути обратно заехали в Митаву, где почти неделю прожили в гостях у курляндского губернатора, в замечательном его замке. Мне теперь кажется, это была очень счастливая неделя моей жизни, вся поездка была счастливая. В Митаве, через несколько лет... Впрочем, неважно. Важно, что это было, что все-таки было это... И вот помню, говорил А.Н.В., сплошными темными глазами всматриваясь в тринадцатый и четырнадцатый год, что первый привал с пикником сделали мы в деревне, знаменитой своими роскошными высоченными дюнами – и проходом между этими дюнами, проложенным, по преданию, для императрицы Елизаветы Алексеевны, жены Александра Первого, после какой-то сложной любовной и придворной интриги удалившейся в балтийское уединение. Дюны по обе стороны этого прохода кажутся двумя барханами из Аравийской пустыни, по оплошности перенесенными кем-то на Север; такая же редкая колкая трава растет на них. Песок там совсем белый, раскаленный на солнце. А наверху уже сосны, пригнувшиеся от ветра, а между ними, как бы в складках дюн, совсем отдельные, песочные маленькие поляны, где можно укрыться от ветра и так печет солнце, как будто вы и вправду где-то в пустыне, в Аравии, в Мексике. Почему-то все ушли, или мы одни залезли туда, уже память все путает, и долго лежали там, в этих дюнах, глядя на небо, слушая ветер в соснах. Нам было по двенадцать или тринадцать лет, мы рассказывали друг другу наше блистательное, упоительное, ни с чем не сравнимое будущее... Вот это я на всю жизнь запомнил. А снова, сказал он – снова глядя в упор на меня, мы встретились с ним на пароходе в Аргентину, в 1950 году. Тут, понятное дело, наступила пауза в разговоре. Вот так вот бывает в жизни. Расскажите, попросил я (все-таки, при всем своем тогдашнем нелюбопытстве). Он хотел рассказать, я это видел; он не мне, конечно, но себе самому все это рассказывал.

Я плыл в Аргентину по делам, *disons*, своей фирмы, рассказывал он; я должен был строить небоскреб (*sky-scraper*... или, если хотите, *gratte-ciel*) в Буэнос-Айресе; ничего, кстати, не вышло из этого, небоскреба я не построил, построил зато разные другие вещи, ну да это к делу сейчас не относится. Это был итальянский пароход, старый и грязный, он вышел, должно быть, из Генуи, потом зашел в Марсель, где я и сел на него, потом на Канары, потом на Кабо-Верде, потом в Рио-де-Жанейро, потом уж в Буэнос-Айрес. Но и это неважно. А важно, говорил А.Н.В., что плыву я на пароходе, и вдруг кто-то сообщает мне, что внизу, в самом трюме, плывут мои компатриоты... соотечественники, русские переселенцы, дипийцы... знаете, кто такие дипийцы?.. я знал. Неужели знаете? Мне показалось, он мне не поверил. Ди-пи, сказал я, *displaced persons*, перемещенные лица, вторая волна эмиграции. Все вы знаете, сказал он, кто вас учил? На это я как раз не знал что ответить. А стишки знаете: по синим волнам океана везут в Аргентину Ивана? Не знаете? Ну вот знайте. Он опять рассмеялся так громко, что с дивана все на нас оглянулись; его жена, показалось мне, уже сильно скучала, но не настаивала на нашем уходе. Они все сели, я думаю, в Генуе, куда, видно, перевезли их из Мюнхена... А мы с ним больше тридцати лет не видались. Были мальчики, стали взрослые дяди. Я бы, наверное, и не узнал его, это он меня вдруг окликнул. В трюме темно было, подвесные койки, дети, крик, ор и ругань. Кто-то тренькал на гитаре, напевал, совсем неплохим баритоном, даже помню, что именно. «На муромской дорожке стояли три сосны...» Знаете такой романс? Я знал такой романс. Тут-то, продолжал А.Н.В., покачивая ногою, он меня и окликнул. Сидел на койке. Одутловатый, лысый, в круглых очках. А больше и рассказывать нечего. Нечего, не удивляй-

тесь. Ну встретились мы и встретились, через тридцать шесть лет, что тут теперь рассказывать? Он сделал, уже не такое легкое, движение, чтобы подняться, тут же замеченное и повторенное Марией, но затем опустилс я опять на свой стул, провел широкой рукой по лицу, разглаживая его, помолчал. Да, сидел на койке, Володя Граве, совершенно лысый и в круглых железных очках. Он плыл под другой фамилией, дипийцы все меняли фамилии, не Граве, а Граббе, или даже Граблин, теперь уже все равно. Их до сорок седьмого года выдавали еще советам... А я ведь мог и не спуститься туда, в этот трюм, мог его и не встретить. Видно, не мог, видно, должен был встретить его на том пароходе. Вы скажете, жизнь причудлива? Жизнь очень причудлива, жизнь много странней и причудливей, чем мы подозреваем с вами. Я ему рассказал свою историю, он мне рассказал свою. Месяц плыли, месяц рассказывали. Он в начале войны попал в плен. Но выжил. Ему удалось доказать, что он природный немец, Volksdeutscher, общались с ним довольно сносно. А он и вправду был наполовину немец, как и я сам, только у меня матушка была немка, а у него батюшка. И до этого он выжил, уж я не знаю как, даже на инженера сумел выучиться. Мы с ним, как оказалось, в один год женились, в один развелись... А потом что было? А потом он еще двадцать с лишним лет... не двадцать с лишним, вдруг перебил он себя (почти, показалось мне, с возмущением, коря себя за неточность...), а двадцать два года жил в Аргентине, работал на разных стройках, он был инженер превосходный, а умер от разрыва сердца, на улице, в самом центре Буэнос-Айреса, возле тамошнего памятника Свободы, так называемой пирамиды, Piramide de Mayo. Курил очень много, одну папиросу прикуривал от другой. «Сигареты» все-таки по-русски звучит очень странно. Вот по-испански, да, los cigarillos. Еще пахитосы были, как у Марии, и сигары были, конечно, в Америке. Постарайтесь быть счастливым в жизни, если у вас получится. Это трудно, но если очень постараться, то может ведь и получится, кто знает?

## Глава 4

*No, Time, thou shalt not boast, that I do change:  
Thy pyramids built up with newer might  
To me are nothing novel, nothing strange;  
They are but dressings of a former sight.*

*Shakespeare<sup>4</sup>*

Через полгода его тоже не стало. Умер он, как я потом узнал, не в Париже, но в той деревне в Лангедоке, где в начале шестидесятых годов, вскоре после возвращения из Аргентины, купил и перестроил по своему вкусу, превратив его в местную архитектурную достопримечательность, старинный, гулко-каменный дом со средневековой рыцарской башней; Мария пережила его на десять или, может быть, двенадцать, тринадцать лет. Ее тоже, хотя я бывал в Париже в девяностые годы, я больше, чего тоже не могу себе простить, не встречал. В тот первый, давний, уже какой-то почти нереальный, не со мной бывший приезд я еще несколько раз встретился с Вивианой, с Пьер-Полем; потом появились в моей жизни другие люди, случились другие встречи; я съездил к приятелям в Шамбери; увидел темное озеро, воспетое Ламартином; моя тогдашняя немецкая подруга – тоже, кстати и как ни странно, Мария – приехала, чтобы повидаться со мною, из Фрейбурга; затем уехала; затем я сам поехал вслед за ней, на заранее найденной попутной машине, во Фрейбург; из Фрейбурга попал в Констанц; наконец, в Мюнхен – по которому ходил три или четыре, уже ноябрьских, почти зимних, промозглых и темных дня, с таким чувством, что вот здесь, именно здесь и только здесь я бы хотел жить, запоминая подробности, вот этот выход к Изару напротив Максимилианеума, низенькой балюстрадой отделенный от трамвайных путей, вон тот узкий, по двору среди голых деревьев, проход от Английского сада, через Каульбах-штрассе, к Библиотеке, и менее всего предполагая, конечно, что буду много лет жить рядом с Мюнхеном и с ним по соседству, что, наконец, перееду сюда в 2007 году, буду снова изгнан отсюда в 2010-м не всегда милостивой судьбою – и что приеду сюда писать, вот сейчас, то, что пишу, вот эту повесть, или этот роман, или сам не знаю еще, что это будет, ходить со своими тетрадками, из одного кафе в другое кафе, вот вчера, вот сегодня – из знаменитого кафе Annast на Одеонс-платц в любимое и затрапезное Drugstore возле Münchener Freiheit, с водевильным театриком наверху, в английскую чайную на Türkenstrasse, где подают настоящие scones с настоящими, густейшими, прямо из Англии привезенными сливками и в креслах с высокими спинками сидят усатые джентльмены, – и раскрыв тетрадку, под шум чужих голосов, под музыку, иногда назойливую, иногда все же не очень, пытаться описать мою первую и единственную встречу с Александром Воско и Марией, краткую и, в сущности, случайную, теперь уже четвертьвековой давности парижскую встречу, о которой я вскорости почти, пожалуй, забыл, о которой все же не мог не вспомнить, конечно, когда, возвратившись в декабре 1988 года в Россию, пережив московскую зиму, перестроечную весну, вновь, летом 1989 года, приехал в мою латышскую деревню, с тех пор, в свою очередь, превратившуюся для меня в нечто почти мифическое, мифическинедостижимое – не потому, разумеется, что я не мог бы просто-напросто съездить туда – Alexandre Vosco после 1940 года не мог, я могу, – но потому, что она, эта за своей высокой дюной притаившаяся деревня, так прочно и кровно связана для меня с определенным временем, с моей, вообще говоря, молодостью, что без этого времени, вне этого времени уже как будто не существует, и я просто-напро-

---

<sup>4</sup> Не хвастайся, Время, будто я изменяюсь: пирамиды, заново возведенные тобой, для меня не новы и не удивительны; это всего лишь перелицовка уже виденного. Шекспир.

сто боюсь туда ехать, страшусь увидеть пустую оболочку прошлого, мертвое место. В 1989 году оно еще было живым, настоящим. Не зная будущего и почти не заботясь о прошлом, я все-таки не мог, конечно, не вспомнить, приехав туда в то лето, оставив вещи в снятой на лето комнате и тут же, что было из года в год повторявшимся ритуалом, отправившись, разумеется, к морю, перебежав по дощатому серому и косому мостику прибрежный ручеек, отделявший деревню от дюн, не мог не вспомнить, конечно, выйдя в эти дюны, в этот, тот же самый, все тот же, проход между дюнами, прорубленный когда-то то ли для императрицы Елизаветы Алексеевны, жены Александра Первого, то ли, как утверждали местные жители, для самой – как же иначе? – Екатерины Великой, глядя на взлетающие в небо, с двух сторон, все те же песчаные горы, не мог не вспомнить, еще и в последний раз, тех двух мальчиков (о смерти А.Н.В. я, наверное, еще и не знал...), в своем каком-то четырнадцатом году вот так же, задрав голову, смотревших на согнутые ветром сосны где-то там наверху, чистое небо над ними, и как они полезли, наверное – переглянувшись, ухмыльнувшись, наперегонки друг с другом – наверх, и как лежали там, укрытые складкой бархана, в отделенном от прочего мира, крошечном и безопасном мирке, где пахло – и по-прежнему пахло – раскаленной хвоей, раскаленным песком; и будущее, о котором говорили они в тот навсегда исчезнувший день, за год до мировой войны, или в год начала ее, будущее, о котором знали так же мало, как знал о своем я сам, это еще мальчишески-авантюрное, еще не совсем освободившееся от Карла Мая и Майн Рида, но все-таки уже намечавшее свои взрослые контуры, интересы и ориентиры будущее казалось им, наверное, каким-то большим осмысленным музыкальным движением, в которое уже готовились вступить они, которое уже пело в них, как ветер пел в соснах; и море, когда они приподымались на локте, словно спускалось к ним откуда-то сверху, за соснами, играя своими искрами, наклоненное вниз, благосклонное к ним.

Я снова встретился с Вивианой в 1994 году; она показалась мне постаревшей и пожелтевшей; утратившей, может быть, надежды на семью и счастье. Я ничего не знал, странным образом, об ее кавалерах, как будто их и не было вовсе. Мне нравилось, в сущности, что она не рассказывает о них, не упоминает в разговоре никаких amis, настоящих или прошедших. Была она при этом все такой же branché, такой же chébran, все в таких же цепях и шарфах, так же заряжена электричеством моды, электричеством светской жизни. И мужчины на улицах все так же на нее оборачивались. Странно было и то, если вдуматься, что именно с ней и только с ней одной из всей этой случайной компании любителей комиксов, профессионалов пижонства сохранял я непрерывные отношения, не такие отношения, которые нужно каждый раз, в каждый новый приезд в Париж восстанавливать, но такие, которые просто длятся и длятся, все эти годы. Говорить с ней мне по-прежнему было не о чем (покуда, уже в самое последнее время, я не начал говорить с ней об ее отце и матери, задумав наконец писать то, что теперь пишу...); а все же я почему-то, не очень часто, но все же звонил ей, из России, потом из Германии; и она почему-то звонила мне, просто так, в Москву, затем в Эйхштетт, в Регенсбург, в Мюнхен, во все места моих Wanderjahre. Когда годы ученья заканчиваются, начинаются годы странствий... В середине девяностых в Париже поселился мой дорогой и давнишний, ныне (как трудно дается мне это слово) покойный друг, Павел Двигубский, о котором я здесь много писать не буду, которому я посвятил свою предыдущую книгу («Город в долине»); помню, как познакомил его с Пьер-Полем и Вивианой и как они чуть не скатились от смеха под столик того кафе возле Place des Vosges, в котором сидели мы, когда, забыв свое обещание ни в коем случае не называть его во французской компании П.Д., как я привык называть его с юности, я в самом деле назвал его так; PD, не путать с BD, есть, как нетрудно догадаться, чудное хулиганское сокращение от pédéraste. Еще помню, как мы шли с ним в гости к одной старой эмигрантке, с которой он как раз хотел меня познакомить, и в очередном, на сей раз тесном и душном книжном магазинчике, где-то на Монмартре, куда мы зашли по дороге, я обнаружил толстый, торжественный, в золотой суперобложке альбом, называвшийся

«Александр Воско, l'architecte et l'homme, архитектор и человек» (Paris-Montréal, 1991); я, увы, не купил его по причине его непристойной дороговизны, моей тогдашней, еще полустуденческой, бедности. Двигубский торопил меня; у хозяина книжной лавки включено было ядовитое радио; присесть было негде. Все-таки я впервые увидел в тот день фотографии некоторых, не всех, разумеется, зданий, построенных А.Н.В., самых, как я впоследствии понял, знаменитых его зданий: пирамидальной библиотеки в Испании, снятой в разных ракурсах, с разных сторон; черно-белые, под северным патетическим небом, фотографии кирпичного шведского города, вернее – пригорода, исчезающего в сосновом лесу, с подземными гаражами и подъездными дорогами, тоже спрятанными под землю, показанными на отдельном, неразборчивом плане; фотографии, в разнообразных, опять-таки, ракурсах, перелетающего через темный залив, бесстрашно изогнутого и словно склоненного набок моста в Рио-Давиа; прозрачного, в Рио-Давиа тоже, как будто ползущего по холмам, по камням, сползающего в долину университета; восточно-яркие, с цветущей сакурой на переднем плане, фотографии Музея современного искусства в Осаке, построенного в виде яйца, лежащего на боку, с бетонной нижней частью и стеклянной верхней, с какой-то сновидческой структурой этажей и лестниц, проступающих за стеклом, – одна из самых смелых, как сказано было в комментариях к картинке, и самых безумных его построек, шедевр сумасшедшей архитектуры (*architecture folle*); увидел и первые (с тех пор я их много видел) фотографии самого А.Н.В.: молодого А.Н.В. в смешном узком галстучке; А.Н.В. в Аргентине, очень высокого, очень счастливого, в строительной оранжевой каске; А.Н.В. в блейзере, столь мне памятном, или похожем, уже стареющего, в кресле с переброшенной через колено ногою, перед огромным окном своей мастерской в Лангедоке; А.Н.В. в той же мастерской перед кульманом со смутными очертаниями каких-то задуманных им, не знаю, построенных или нет, продолговатых домов. А вот рассказывал ли я Двигубскому историю парохода, историю встречи Александра Воскобойникова с Владимиром Граве, другом детства, дипийцем и беженцем, я уже не могу теперь вспомнить (и значит, наверное, нет). Двигубский, с его чувством прошлого, интересом к протекшей жизни, событиям и судьбам уходящих эпох, несомненно оценил бы ее. Сам я, как бы то ни было, чем дальше шло время и чем живее делался мой собственный интерес к прошлому, тем чаще думал об этом эпизоде чужой, лишь в самых общих и смутных контурах известной мне биографии, ощущая в нем, разумеется, биение совсем иных, литературных возможностей, зерно сюжета, прорастание прозы. Прошло пять лет после встречи моей с А.Н.В., прошло десять, прошло и пятнадцать. Какой-то частью и моих собственных воспоминаний сделалась эта история; еще не думая о ней как о будущей книге, будущем тексте, я все же вновь и вновь, посреди других мыслей и замыслов, пытался представить себе, как это было, как они встретились, как говорили.

В самом деле, как это было? И прежде всего, что за пароход это был? Был ли это вообще пароход, то есть корабль именно с паровым, а не, к примеру, дизельным двигателем? Возможно, А.Н.В. называл его так (а я точно помню, что он так назвал его) по старомодной привычке, точно так же, как он сигареты называл папиросами. Прекрасно его, кстати сказать, понимаю. В слове *пароход* есть что-то сразу уютное и таинственное, чего нет, разумеется, в безнадёжно прозаическом *теплоходе*. И папиросы, если угодно, романтичнее, прекраснее, таинственнее каких-то там сигарет... Это был, тем не менее и скорее всего, именно теплоход, в 1950-м на пару уже вряд ли кто плывал в Америку, в Северную ли, в Южную, то есть какой-то корабль на дизельном топливе, но вот какой корабль, пассажирский ли, грузовой ли, военный, этого я не знаю. Военным этот корабль, судя по рассказу А.Н.В., быть не мог, хотя русских дипийцев перевозили в Новый Свет, как правило, именно на военных судах; самый первый транспорт в Америку (Северную), узнал я недавно, вышел из Бремергафена 21 октября 1948 года на американском военном судне «Генерал Блэк»; этого Блэка сменил потом «Генерал Баллу» (*General Ballou*), темный, весь какой-то вытянутый, если судить по фотографиям, которые удалось мне найти, транспортный военный корабль, курсировавший несколько лет подряд

между Бремергафеном и Нью-Йорком. На корабле этом плыл, между прочим, Иван Елагин, великий непрочитанный поэт, тоже лишь к пятидесятому году, после берлинских бомбежек и мюнхенских лагерей для перемещенных лиц, получивший наконец разрешение на безопасность и университетское преподавание в Америке, упоминая этого Ballou через десятилетия, в конце жизни, в не самой, может быть, удачной своей поэме. «Военный транспорт «Генерал Баллу» к Нью-Йорку плыл сквозь утреннюю мглу...» И в другом, как раз замечательном, стихотворении поминает он этот корабль, «ямину трюма», подвесную койку, волны, бьющие в борт... Полагаю, что и в Аргентину измученных ожиданием беженцев, переживших насильственные выдачи, слухи и страхи, наезды энкавэдэшников, мечты и старания этих энкавэдэшников забрать их всех обратно под сень любимых усов, липовые справки, поддельные паспорта, бесконечные проверки на туберкулез и лояльность, – полагаю, что и в Аргентину, и в другие страны Латинской Америки их доставляли все же именно на военных судах. Получается, что не всех, что некоторых просто на пассажирских; никаких причин нет у меня не верить рассказу Александра Воско. Предположим, следовательно, это был какой-то пассажирский корабль, не очень большой и не очень шикарный, не Queen Mary уж точно, вообще не из тех океанских дворцов, что, очухавшись от войны и подводных лодок, в конце сороковых – в начале пятидесятых снова плавали в Америку Северную, покуда, к концу десятилетия, не победили их своей дешевизной и быстротой самолеты, но все же какой-то пассажирский, и значит, поделенный на классы, с иерархическим распределением удобств и потугами на роскошь для удачливых и богатых, корабль. А каким классом плыли беженцы? Вообще, скорее всего, никаким, вне классов, вне общества. Для них главное было, что они вообще плыли, что удирали из Европы, что выжили. Пароход кидало, наверное, была качка, была морская болезнь... Со всех сторон был океан, вот что важно, даже других кораблей видно не было. И вот, следовательно, затерянные в пространстве, в метафизической стихии моря, между Старым и Новым Светом, старой и новой жизнью, вне времени, в предоставленном судьбою антракте, предоставленные судьбою себе и друг другу, оставленные наедине друг с другом, с собою... А где, собственно, сидели они? Ведь не в трюме же, на подвесной койке, под детские крики и приятный баритон, поющий «На муромской дорожке...»? Если качка и ветер позволяли им это, они выходили, конечно, на палубу, сидели в шезлонгах, или стояли, держась руками за релинг, подставив лица воздушным громадам, подставив их солнцу, монументальную мощь набиравшему по мере их продвиженья на юг. А если нет, то сидели, наверное, где-нибудь в баре, глядя, теперь уже в иллюминатор, на поднимающуюся и падающую стихию, и как должен был чувствовать себя в этом баре Владимир Граве (Граббе, Граблин), в поношенном пиджаке с чужого плеча, подаренном благотворительной организацией (IRO, или Ирочкой, как сентиментальные дипийцы ее называли...), после двадцати с лишним лет подсоветской жизни, после войны, плена и лагерей? Все знали, что он оттуда, снизу, из ниоткуда; бармен и стюарды обслуживали его неохотно, смотрели косо, с холуйским презрением. Надеюсь, им обоим было наплевать и на стюардов, и на бармена, и на других пассажиров.

Но главное, главное – как говорили они о протекшей жизни, протекших жизнях, как рассказывали друг другу эти жизни, такие разные? Я почти ничего не знал, до последнего времени, ни о той жизни, ни, тем более, о другой, я понимал тем не менее, что рассказать друг другу о прожитых жизнях этим пятидесяти– или почти пятидесятилетним друзьям детства, так странно и неожиданно встретившимся, было почти невозможно. Конечно, и в двадцатые, и в тридцатые годы русские эмигранты знали о Совдепии все (Запад ничего не хотел знать, но эмигранты все знали). Alexandre Vosco, Александр Николаевич Воскобойников, прекрасно понимал, разумеется, разницу между революционным Петроградом и Ленинградом эпохи НЭПа, понимал, что такое пятилетки, год великого перелома, продуктовые карточки, показательные процессы и прочие прелести бытия, знал советские словечки, аббревиатуры и термины, все эти укомы, крайкомы... Все же знание реальности не заменяет присутствия в ней. Он знал,

как это было, думал я, но не знал, конечно, как пахло. Не знал этого затхлого запаха подсоветской жизни, проникавшего во все ее складки и поры, в твои же мысли, в твое же отчаяние. Не ходил через черный ход, не вдавливался в трамвай, не стоял в очередях за селедкой. Не знал этого непрерывного страха и неотвязной скуки, этих портретов, этих собраний, этого ощущения твоей собственной подлости, оттого что ты не кричишь, не падаешь на мостовую, не бросаешься с кулаками на милиционера, идешь как все, глаза в землю и шляпу на брови, не знал этого чувства, что ты уже никогда, никогда не выберешься отсюда, что ни Венеции, ни Вены не существует, и не может существовать, и даже как бы уже не должно, этого звериного блеска в глазах любого чиновника, любого начальника, мечтающего тебя растерзать, упивающегося своей ничтожной властью над тобой, червячком-человечком. А что понимал Владимир Граве в его, Александра Воскобойникова, эмигрантской жизни? Он и старую-то жизнь, может быть, помнил плохо, постарался забыть ее, как постарались, мне кажется, забыть ее мои дедушка и бабушка, в том же самом Ленинграде не спавшие по ночам, прислушиваясь к шагам на лестнице, к шуму машин, подъезжавших к подъезду. Чтобы как-то выжить в тридцать седьмом году, надо было напрочь забыть, конечно, тринадцатый. Моя бабушка в том же тридцать седьмом сожгла на кухне весь семейный архив, все письма, все фотографии, все открытки с видами Гельсингфорса и Гейдельберга, что не спасло от высылки и последующего ареста ее младшего, обожаемого ею брата, зато навсегда отрезало от прошлого мою мать и меня самого. Владимир же Граве, когда я думал о нем, казался мне похожим на моего дедушку, Максима Владимировича Давыдова, инженера-строителя, как и он, так лихо и ловко скрывавшего и скрывшего свое происхождение и прошлое, что я теперь не знаю о нем почти ничего, не знаю даже, кто были его родители, как их звали, и в результате пиротехнических опытов его жены, моей бабушки, не узнаю уже, наверное, никогда, могу только судить обо всем этом по немногим фотографиям и косвенным каким-то свидетельствам, преданиям моего детства, по его свободному обращению с немецким языком и чуть менее, кажется, свободному обращению с французским, по его манерам и юмору, о которых мне так часто рассказывали, его обаянию, безотказно действовавшему не только на женщин, но и, что много труднее, на партийных бонз и бурбонов, его барским привычкам, отчаянно и отважно сохраняемым в самые пролетарские годы и при полном безденежье, в которое периодически проваливался он вместе с женой и дочками. Он, кажется, не очень твердо знал, где в доме кухня. Приходя домой после долгого рабочего дня, просто садился и ждал, пока ему подадут чай в стакане с серебряным подстаканником, или подадут ужин с неизменной стопкою водки. Есть детская его фотография, негнущаяся, как все карточки той эпохи, где он стоит с двумя другими, мне неизвестными детьми, озорником-фотографом поставленными по росту и возрасту, самый большой и старший среди троих, с большим белым шелковым бантом под белым же, очень твердым по виду, широким воротничком, в белой жилетке под курточкой – и с выражением такой беззаботности в глазах, в лице и во всей фигуре, в постановке ног, складке губ, пухлой большой руке, с такой печатью веселого и обожающего баловства, очевидно окружавшего его детство, что почти невозможно поверить в его шансы на выживание во мраке, наступившем вскорости после фотосеанса. Шансы эти все-таки были, как были они, очевидно, и у Владимира Граве. Мой дедушка с его инженерным образованием и потаенным прошлым, хотя и держал до самой смерти усатого упыря заранее собранный чемодан под кроватью, на случай ночного ареста, ухитрился даже сделаться чем-то вроде начальника, к своему стакану чая или ужину со стопкой водки из граненого графинчика приезжал на машине с шофером, родственников маминой и впоследствии моей няни, бежавших из деревни от голода и колхоза, устраивал работать на стройках, даже заседал, кажется, в каких-то исполкомах или профкомах... На другой фотографии, которая лежит сейчас передо мною, он еще молодой, уже сильно лысеющий, так что лоб выглядит огромным, высоким, в военной форме с тремя кубиками и значком инженерных войск на черных петлицах, с уже совсем не детским, конечно, но узнаваемом, тем же лицом, с большими, как будто расширен-



ными от удивления перед чем-то глазами, внимательно и невесело глядящими теперь на меня, с какой-то уже совсем советской, армейской, «под машинку», стрижкой, аккуратно, но все же как-то грубо подровненными бачками и с прорывающей небритостью на щеках. Это снимок времен войны с Финляндией – «финской кампании», как стыдливо ее называли, – на которую, зачислив в армию, его отправили из Ленинграда прокладывать какие-то дороги сквозь зимнюю сказку. Есть еще одна фотография, где он и стоит посреди этой зимней финской идиллии, разрытой окопами, в шинели с теми же тремя кубиками на ромбовых шинельных петлицах, в шапке с красной звездой, с пистолетом, подумать, на широком ремне – и совершенно штатским, по-питерски грустно-ироническим лицом, в круглых очках, тех же самых как будто, какие на мне сейчас надеты, и совсем той же, что на первой, детской, карточке, какой-то наивной и невинной складкой губ. Он выглядит здесь еще моложе – из-за шапки, скрывающей залысины, может быть, – но глаза смотрят так же невесело, внимательно, удивленно. А на других фотографиях, военных и послевоенных, вдруг промелькнет и что-то жесткое в этом решительном и мягком лице, что-то печально-суровое и в глазах, и в линиях возле рта.

На большой войне мой дедушка тоже был, в плену, слава Богу, нет. Этот плен Владимира Граве я, конечно, почти не мог, да и до сих пор не могу представить себе, зато, когда в девяностые годы я вновь попал в Мюнхен, стал часто ездить туда, затем поселился там, его дипийский лагерь обрел для меня очертания в виде тех огромных казарм на севере города, что в тридцатые годы с необыкновенною быстротою возведены были потрясенными вдруг открывшейся перед ними дорогой к славе архитекторами Нового Рейха, после войны использовались американцами частью для собственных войск, частью именно для дипийцев, были переданы потом бундесверу, полиции, пожарной охране. Все эти годы приезжал я в Мюнхен с севера или из Мюнхена ездил на север, в Эйхштетт и в Регенсбург, и проезжал, следовательно, эту северную окраину со странным названием Фрейманн («свободный человек»), соседнюю с Фрётманнингом, где несколько лет тому назад, к чемпионату 2006 года, построили огромный, футбольный, круглый, по ночам светящийся разными красками, всю округу озаряющий стадион. Казарм там было несколько («а казарм настроено сколько по окраинам!», писал потом в «Беженской поэме» Иван Елагин, именно в Мюнхене, среди прочих *перемещенных*, ждавший решения своей судьбы, куда ожидание длилось, написавший и напечатавший – на гектографе – свои первые стихотворные сборники; целых два!; библиографическая редкость сегодня...); отраднo все-таки думать, что основной лагерь для беженцев американцы устроили не, например, в гигантской, гигантоманической бывшей казарме СС, хотя беженцы и в ней содержались, одно время, в частности, все тот же Иван Елагин (теперь там санитарные службы и медицинские институты бундесвера; и меня там чуть не арестовали, когда я начал фотографировать...), а в несравненно более скромной бывшей казарме войск связи люфтваффе (Luftnachrichtenkasernen), в просторечии называемой (переведем так) «казармой радистов», или «радиоказармой» (Funkkasernen), от которой теперь осталось только главное здание, отданное полиции. Все прочее, все «корпуса бетонные», упоминаемые Елагиным, уже снесены. На их месте, по замыслу градоначальников, должны стоять жилые дома, бюро, художественные мастерские, супермаркеты и вообще всякие замечательные вещи, забывшие об ужасах прошлого; сейчас, в промежутке между прошлым и будущим (вчера я был там...), все это являет собою необозримую строительную площадку, с необозримыми, опять-таки, лужами, неглубокими котлованами, одиноким оранжевым вагончиком для рабочих, выставкою экскаваторных ковшей рядом с ним, выставкою еще каких-то звероподобных деталей, гигантских штопоров, гигантских клещей, с беззаботно желтеющими среди всего этого березами, липами, с кучами щебня, кучами строительного мусора, где еще валяются, завтра валяться уже не будут, последние, самые последние остатки снесенных барачков, ржавые трубы, ржавые скобы, неразбившаяся раковина из несуществующей ванной комнаты, глубокая, почти белая, с темной дыркой посередине. Внезапный простор открывается вдруг оттуда, внезапная пер-

спектива с Олимпийским парком в глубине ее, со стрелкою телебашни под низким и блеклым небом... Послевоенных фотографий всего этого мне не удалось разыскать, а вот на официальных, черно-белых, в трагически-вагнеровских тонах выдержанных нацистских снимках конца тридцатых годов сохранившееся до сих пор главное здание, теперь кажущееся довольно скромным, даже почти уютным, выглядит торжественно и ужасно – типический продукт той псевдоклассической, на самом деле варварской архитектуры, которая в это позорное десятилетие (*a low dishonest decade*, по незабываемому выражению В.Х. Одена...) не ограничивалась, удивительным образом, счастливыми странами, подвластными усатым и усатеньким гениям, хотя именно там, разумеется, достигла высшего своего совершенства, своего акме и апогея, – продолговатое, под высокой крышей, двухэтажное здание, с квадратными, мелкими, непоправимо напоминающими тюремные, окошками на первом этаже и столь же отвратительно однообразными, вытянутыми вверх – на втором, с пятью арками по фасаду, под одной из которых можно разглядеть стыдливо прикрытую каким-то, что ли, щитом дверь – в никуда. Флажтоки и пустынный плац довершают обаятельную картину. Но всего замечательнее громадные, грозноклювые, друг к другу повернутые орлы перед входом на этот плац, застывшие на высоких, по виду выше человеческого роста, мощноглыбистых обелискообразных постаментах, на не птичьих, а на звериных каких-то лапах, упертых в эти обелискообразные постаменты... Орлов этих больше нет, но после войны они, говорят, еще были. И как-то даже не очень трудно, глядя на это фото теперь, вообразить себе Владимира Граве, в потертом, опять-таки, с чужого плеча плаще, подаренном все той же благотворительной Ирочкой, или ее предшественницей (UNRRA), отправляющегося в город в надежде раздобыть папирос, или обменять папиросы на сало, или где-то «по-черному» подработать, или в дом «Милосердный самарянин» на Мауэркирхерштрассе, где был русский бесплатный врач и русская гимназия, в которой, может быть, – кто теперь это знает? – преподавал он рисование, или черчение, или, может быть, математику. Как небось смотрели на него эти орлы, не желая выпускать его в вольный мир. А мир и Мюнхен еще лежали в развалинах, и остатки стен, мусор, щебень, битый кафель, битые стекла, кирпичную крошку, поломанную мебель, посуду, слезы и страхи, растоптанные надежды, утраченные иллюзии свозили в соседний с Фрейманном Фрётманнинг, или на огромное поле на западе (Oberwiesenfeld), где был когда-то гражданский, затем военный аэродром и где теперь росла и росла, до пятидесяти метров доросла эта мусорная гора, позже, в семидесятые годы, сделавшаяся частью Олимпийского парка... Пешком, наверное, доходил он до Швабинга, а там уже садился в трамвай. Или как раз сходил с трамвая на Münchener Freiheit, шел в хорошую погоду и если были силы, через Английский сад, в своей дальней, для него ближней, части почти дикий, похожий на лес, шумящий листвою, проходил мимо озера, где вопреки всему смеющиеся парочки катались на лодочках, американские GI's с баварскими Mädels, затем все дальше и дальше, мимо сгоревшей «китайской башни», мимо раненной бомбами беседки, выходил к Изару и там садился где-нибудь на берегу, закуривал пайковую папиросу, смотрел на зеленоватую воду, быстро и бурно проносившуюся мимо него, вспоминал, может быть, другие какие-то реки, не мог же, думал я, когда вообще думал обо всем этом, не вспоминать их, вспоминал, может быть, широкую, тихую, но опасную, всю в водоворотях, реку с чудесным названием Курляндская Аа, реку полубалтийского своего детства, переименованную в свободной Латвии в Лиелупе, эту величественно-опасную реку, подходящую возле Майоренгофа и Дуббельна так близко к морю, что при взгляде на карту курортный берег кажется случайностью, по забывчивости, что ли, не поглощенной солеными и пресными водами, хлябями... эту реку, еще раз, на которую убежал он вместе с Сашей Воскобойниковым, рижским и лучшим другом полубалтийского своего детства, с тех пор и давным-давно потерявшимся в эмиграции где-то, он не знал где, или погибшим, может быть, думал он, когда советы в сороковом году слопали Латвию, сейчас колющим, может быть, колымский лед, вот сейчас, и там, на берегу Аа, подзадоривая друг друга, они нанимали корявую, плоскую, рыбкой, тиной пропахшую лодку у добродуш-

ного вислоусого рыбака-латыша и, что им строго-настрого запрещено было делать, перебирались на тот берег, где ничего не было, кроме сначала камышей, затем трав, лугов, облаков и свободы, где начинался совсем другой, не курортный, большой и манящий мир, на поверку оказавшийся столь ужасным, где дошли они однажды, в поисках приключений и по-прежнему подзадоривая друг друга, до одинокого, почти исчезавшего под соломенной крышей хутора и были едва не съедены огромной грязно-мохнатой собакой, никак не желавшей слушаться трясущегося и босоногого старика, откуда-то вышедшего на ее безумный безудержный лай. И неужели все это было вправду с ним, думал он, вот с ним, Владимиром Граве, одутловатым, лысым, в круглых очках, все и всех потерявшим, всегда голодным, ни во что не верящим больше, такие страхи пережившим, такие ужасы видевшим, но все-таки еще бьющимся, как рыбка в сетке у того латыша, думал он, еще стремящимся в Америку, в Аргентину, в Австралию в надежде, что одно из этих трех больших А его примет – первая буква алфавита, новое начало, новая жизнь – или отзвук той курляндской детской реки Аа, которая еще куда-то, куда-то его, может быть, вынесет. На мгновение засыпал он, пригретый солнцем, на щебенчатой отмели у изумрудного быстрого Изара. И затем, опомнившись, вскакивал на ноги, и шел все-таки дальше, все дальше, переходил через Изар по не разрушенному мосту и поднимался в Богенхаузен, район роскошных вилл в югендстиле, где неподалеку от пощаженного войной золотого Ангела Мира (по-прежнему, расправив свои крылья, парившего над городом, благословляя его, на высокой белой колонне...), в тихой, примыкающей к парку улице (Möhlstraße), где теперь я иногда оставляю машину (там стоянка бесплатная, и место найти нетрудно, и до центра недалеко...), в то время шумел, галдел, расцветал под присмотром американской комендатуры, как раз и помещавшейся в одном из особняков, знаменитый на весь Мюнхен и чуть ли не на всю Германию черный рынок, где можно было сменять все на все, кофе на сигареты и сигареты на вечернее платье; сменяя, следовательно, что-то на что-то, шел он, может быть, как и я теперь, бывает, хожу, опять через Изар, по Принцрегентенштрассе – мимо «Дома немецкого искусства», еще одного шедевра нацистской архитектуры, не тронутого бомбежкой, с надписью Officers-Club за победительными колоннами и настоящими победителями, всегда веселыми, курящими Camel под сенью грозно-глыбкого портика, – и дальше, через Хофгартен, Одеонсплатц, по Театинерштрассе к Мариен-платц, в самый центр баварской столицы, по развороченной брусчатке, мимо развалин, казавшихся ему развалинами собственной его жизни, мимо зияющих окон, обнажившихся внутренностей, выпирающих труб и ржавых подтеков, мимо парящей в воздухе комнаты с кроватью, торшером и тумбочкой, готовой сценой для семейной драмы (думал он, или думал я за него...), повернутой к зрителям, с уничтоженными бомбежкой актерами... Все это были, еще раз, мои домыслы. Удивительно лишь, что они впоследствии подтвердились. Жизнь, сказал мне в ту единственную нашу встречу А.Н. Воскобойников, жизнь странней и причудливей, чем мы полагаем с вами. Владимир Граве, как недавно узнал я, в самом деле провел несколько месяцев в Funk-Kaserne во Фрейманне (свободном, следовательно, человеке...), и на тех фотографиях, которые в конце концов удалось мне увидеть, и вправду до смешного и страшного похож на моего дедушку, разве что есть в нем какая-то болезненная припухлость, которой у дедушки моего, тоже, впрочем, умершего «от сердца» в начале шестидесятых, ни на одной фотографии не заметно, но все же похож до страшного и смешного, в таких же круглых очках, с таким же свободным от волос высоким лбом, с таким же, даже, моей мамой и отчасти мною унаследованным рисунком по бокам чуть распушающихся бровей, и смотрит он на этих карточках (сделанных, похоже, в первые аргентинские годы) так же изумленно и так же внимательно, чуть более хмуро и грустно, пожалуй, с еще более отчетливой жесткой складкой на мягком и добром лице.

## Глава 5

*Alle Zufälle unseres Lebens sind Materialien, aus denen wir machen können, was wir wollen.*  
*Novalis<sup>5</sup>*

Осенью 2007 года, когда я жил как раз в возлюбленном и восстановленном Мюнхене, мне позвонила вдруг Вивиана с сообщением, что ее старший, на много лет ее старший, единокровный брат, Pierre Vosco, должен побыть сколько-то дней в баварской столице и что она просит меня с ним встретиться и показать ему город, тем более что он в Германии никогда не бывал, все немецкое ненавидит и едет в страну убийц с содроганием. Я никогда не слышал ни о каком старшем брате. Да, это сын ее отца от первого брака, тоже архитектор, хотя не такой знаменитый. Зато богатенький, женился в свое время на буржуазке, на скучнейшей, из старинной семьи, французской буржуазной мадам, с которой она, Вивиана, не имеет ничего общего, не имеет и не желает иметь. Они там все прогнили от жадности, pourris par les frics. У них дом под Парижем, и замок в Нормандии, и шале в Альпах, и коллекция старинных автомобилей... С владельцем шале и замка я встретился, по мюнхенской традиции, на Одеонсплатц, возле выхода из метро. Он был еще не в таких летах, разумеется, в каких был его отец в эпоху моего с ним знакомства, но выглядел чуть ли не старше, так чопорно и строго держался. Усы придавали ему важности, ухоженные, жесткие и седые. А я человек с предрассудками, к усам и усикам отношусь с недоверием... Такие же седые были волосы, так же хорошо сохранившиеся, как у его отца в ту далекую встречу. И такой же чистый был русский язык, с легким, может быть, певучим акцентом, уютно-удивленным, вполне парижским, потягиванием гласных (знаете, как это бываает...), редким соскальзыванием во французский в сходных словах (не метро, но métro; monument; trottoire... ну, в самом деле, trottoire – это не какой-то тебе там тротуаришко...). Разумеется, величественно ответил он на мой комплимент, у них дома всегда говорили по-русски, исключительно по-русски, непременно по-русски. За моей же русской речью следил он (подумал я) почти так, как Пьер-Поль когда-то за моей борьбой со спагетти (с тем ревнивым вниманием, с каким старые эмигранты обычно следят за речью своих под сенью серпа и молота рожденных соотечичей, помноженным на чисто французскую бескорыстную радость от чужих faux-pas и ошибок). У вас совсем не чувствуется советских интонаций, сказал он вдруг, словно удивленный этим странным для него обстоятельством. Под которыми что же вы понимаете? спросил я его. Он изобразил в ответ что-то такое прянично-лубочное, разлюли-малинное, с такими подвываниями, что мне трудно было спрятать улыбку. Я решил с ним все же не спорить. На нем был синий, опять-таки, блейзер, но никаких, конечно, обвисловельветовых, а в точности, по-видимому, те самые брюки, которые должны быть в одной компании с блейзером; был правильный песочный плащ с правильным шелковым шарфиком; ни то, ни другое героически не снимал он, хотя явно было жарко ему. Я сам, к тому времени давно оставивший всякие, если вообще они у меня были когда-нибудь, поползновения на branché, chébran и прочую чепуху, был просто в джинсах, я помню, в какой-то, кажется, курточке; мой наряд его, похоже, фраппировал. Понемногу все-таки оттаивал он; когда я показал ему Галерею полководцев, Feldherrnhalle, и то знаменитое место, где в 1923 году остановлен был гитлеровский «марш на Берлин», когда мы прошли через Хофгартен, постояли у выложенного изнутри ракушками павильона, где всегда играют Моцарта или Шуберта и в тот день мужеподобная виолончелистка выделявала Вивальди, прошли по подземному переходу под Принц-регентенштрассе, вышли в Английский сад, и ни разу до тех пор не улыбнувшийся Петр Алек-

---

<sup>5</sup> Все случайности нашей жизни – это материал, из которого мы можем делать, что хотим. Новалис.

сандрович Воскобойников, Pierre Vosco, в своем блейзере, плаще и миллионерских ботинках с недопробитыми дырочками, вдруг, крикнув, перелез через низенькую изгородь, отделявшую от дорожки очередную лужайку, и, вытащив из футляра узенькие очки, нацепив их на кончик мощного носа, согнувшись, затем присев на корточки, принялся рассматривать, не срывая его, но потрагивая пальцами, маленький маслянистый гриб, притаившийся в еще совсем зеленой, на солнце ярко и влажно блестящей траве, затем, возвратившись на дорожку и чуть-чуть, похоже, смутившись, объяснил мне, что он, вообще-то, миколог, специалист по грибам, то есть что он всю жизнь проработал как архитектор, но что по-настоящему и с самого детства его интересуют только грибы и что он даже является председателем или сопредседателем, уже не помню, французского, или, не помню тоже, только парижского микологического общества, каковое председательство, или сопредседательство, собственно, и привело его в Мюнхен, поскольку здесь проходил, сегодня утром закончился, международный конгресс микологов, съехавшихся со всего света, из Норвегии, из Китая, – когда он сообщил мне все это, я же, подумав, я помню, что только домашнее безумие, прирученное сумасшествие делает человека человеком, а жизнь переносимой, заговорил с ним наконец об его отце, о моей с ним, девятнадцатилетней давности, встрече (о которой он знал, конечно, от Вивианы, но не знал подробностей), заговорил с ним об этих подробностях, о пароходе в Аргентину, о Владимире Граве, – лед еще не был, наверное, сломан, но уже стучал и шел трещинами. Вот как, отец мой говорил, значит, с вами об этом?.. Да, сказал я, и отец ваш был, по-моему, очень доволен, даже как-то, по-моему, счастлив, когда узнал, во-первых, что я подолгу жил в Латвии, в местах его детства, и во-вторых, что я рассматривал в тот день, когда мы встретились с ним, альбом по архитектуре с фотографиями *La Grande Motte*, а ему как раз в тот же день впервые за несколько лет позвонил по телефону Jean Balladure; мне навсегда запомнилась его какая-то наивная радость по поводу этого простейшего, в сущности, совпадения. Pierre Vosco рассмеялся, впервые за нашу встречу, неожиданным басом. У моего отца были странности в старости, сказал он, свое личное, легкое, он так и сказал, сумасшествие. Он составлял, видите ли, целые списки таких совпадений, где-то они сохранились. Кто-то смотрит дома телевизорную... телевизионную передачу о Прусте, а потом выходит из дому, спускается в метро, и в вагоне, напротив через проход, сидит тоненькая белокурая девушка со вторым томом *A la recherche* в руках... И неслучайно, что именно со вторым, вставил я, она сама же – девушка в цвету, *jeune fille en fleur*. Он оценил, мне показалось, мое замечание. Вот такие истории занимали его отца в чрезвычайной степени, какой-то высший и таинственный смысл он усматривал в них. Что же до истории с пароходом, то отец его часто говорил о ней перед смертью, но, как до сих пор казалось ему, Петру Александровичу, только с ним самим, с ним одним, и только по-русски, хотя ведь он не мог, наверное, не говорить об этом с Марией... Мария отлично знала, кстати, Владимира Граве, Владимира, кажется, Сергеевича Граве, встречалась с ним в Буэнос-Айресе. А он сам, Пьер Воско? Он сам – нет, он никогда не бывал в Аргентине... Чем больше я приглядывался к нему, тем больше сходства находил в нем с его отцом, или с теми фотографиями Александра Воскобойникова, которые мне довелось видеть; теперь, во всяком случае, когда уже множество фотографий лежит передо мною или я могу посмотреть на них в компьютере, это сходство для меня несомненно. Он не был, конечно, таким большим и широким, каким был его отец, этот Pierre Vosco, во все продолжение нашей прогулки и прогулок последующих искавший глазами грибы, иногда находивший, но что-то широкое и в нем было тоже, широкие были ладони, широкие были и пальцы, которыми любовно ощупывал он свои микологические находки. И нос у него был такой же самоуверенный, крупноростистый. Взгляд был не без претензии на орлиность. Все-таки, скажу еще раз, понемногу оттаивал он. Конечно, он чувствовал, не мог не чувствовать, мой ненадуманый интерес к его семье и прошлому, а это ведь всегда лестно, любому из нас. Кто, в конце концов, интересуется нами все-рез? Кому какое дело до наших личных и фамильных преданий, с каждым днем и часом все

беспощадней и безнадежней засыпаемых растущей пустыней?.. Еще я думаю, что неожиданное доверие, когда-то, давным-давно оказанное мне его отцом, было в глазах П.А.В. как бы неким патентом на благородство. А еще, может быть, эти три мюнхенских дня были для него каникулами, перерывом в тяжком служении условностям, которое он почему-то когда-то, кто знает почему, возложил на себя, прорехой в том панцире, в который он был обыкновенно закован. Когда я снова встретился с ним через два года, в его нормандском замке и в обществе его совершенно невыразительной, с поджатыми губками, сухой и мелкой жены, прорех уже не было, доспехи блестяли, улыбка отсутствовала... В тот первый день мы прошли Английский сад до самого озера – П.А.В. оказался любителем долгих прогулок, впрочем, признался он, скорее связанных с его страстью к грибам, – посидели в кафе у этого озера, глядя на лебедей, лодочки и водные велосипеды, скользившие по его неизменно подернутой ветром глади, огибавшие таинственный, недоступный гуляющим в парке остров, на высокие, в самую синь неба возносящиеся пирамидальные тополя и склоненные к воде ветлы на острове, на этом и на том берегу, затем вышли в город, в тихие переулки Старого Швабинга, Keferstraße (где в Первую мировую войну жил Рильке, застигнутый в Мюнхене этой войною, потерявший все свои вещи и бумаги в Париже), Felitzstraße, Mandelstraße, Werneckstraße. Была чудесная баварская осень, дул легкий, но совсем легкий фён, тот фён, от которого голова еще не болит, но мысли и небо проясняются, и видно далеко, и отчетливо проступают очертания предметов, углы и окна домов, их карнизы, колонны, фронтоны, ясной паутинкой рисуется подъемный кран в конце улицы, над крышами, трубами. Где-то возле метро Münchener Freiheit была, в самом деле, стройка, за невысоким забором, разрисованным уродцами, бэтменами и прочими комиковыми драконами, повеселившимися бы, подумал я, Пьер-Поля и Вивиану; мы довольно долго стояли возле этой стройки, я помню, на драконов нарисованных не обращая внимания, наблюдая за другими, железными, за восхитительным и зверским аппаратом, являвшим собою высоченную, в пять этажей, опору, с которой спускалось на тросе что-то вроде поршня, упертого в землю; внешний цилиндр стоял на земле неподвижно, а внутренний, в дырках, с апокалипсическим грохотом, по команде сидевшего в кабине с открытой дверью голорукого, смеющегося и толстого рабочего в каске, с высоты пяти этажей, из чистого осеннего неба, падал вниз и на тонком блестящем стержне ввинчивался во внешний, затем вывинчивался обратно, разбрасывая вокруг себя землю и щебень. Это свайный молот, сообщил мне Pierre Vosco, сваи забивают им под фундамент. Его отец обожал стройки, всегда ходил с измазанным известкой рукавом. Ему скучно было в чистом бюро, ему нужно было шлепать по грязи в сапогах и в оранжевой каске. Что-то детское было в этом. Вот, пришел со стройки и переодеваться не буду, а вы как хотите, je m'en fiche, мне наплевать. Ему нравился, по-моему, даже этот грохот, скрежет железа. А еще я думаю, говорил Pierre Vosco, глядя на свайный молот, его восхищала осмысленность совершающегося, осмысленные действия очень многих людей. Каждый делает что-то свое, но все их отдельные действия складываются в некое целое, которого они не видят, которое он видит ясно... Что до меня, говорил Pierre Vosco, то я, доложу вам, всегда предпочитал работать за кульманом, а потом уже ехать спокойненько на природу, в горы или в лес за грибами. Для моего отца стройка и была природой, как я теперь понимаю. Природа вещей, la nature des choses, раскрывалась перед его внутренним взглядом, son regard intérieur. Как трудно говорить об этом по-русски. Он любил, правда, море... Я узнал в тот день от Пьера Воско, что архитектором его отец решил стать еще в детстве, на исходе детства, в отрочестве, или, как вдруг выразился П.В., усмехнувшись в свои ухоженные усы, когда был еще... как это?.. teenager... говорят ли так в России? Конечно. Незадолго до первой войны, двенадцати- или тринадцатилетними мальчиками, они решили, что будут строителями, Александр, тогда еще, скажем, Саша Воскобойников и его детский друг, Владимир, тогда еще Володя, наверное, Граве; решили и, в общем, выполнили. Где-то там лежали у моря на песке, и вот вдруг решили, рассказывал мне Пьер Воско, передавая, в свою очередь, рассказы своего отца в конце

жизни. Я недавно ездил в Ригу, рассказывал он, теперь это так просто сделать, то есть просто слетать туда, даже визы не нужно, а вот найти там что-нибудь... Там уже никого и ничего не осталось. Может быть, я не так и не там искал... Я даже не знаю, где они жили в Риге, говорил Pierre Vosco, знаю только, что квартира была строго выдержана в модном тогда югендстиле, что вся мебель была соответствующая и что были выющиеся, гнутые, столь характерные для Art Nouveau, узоры на стенах, которые мой отец любил потом рисовать в своих тетрадках, блокнотах. Югендстиль вообще, похоже, поразил его в детстве, это для нас югендстиль – история, а он пережил все это ребенком, как что-то новое, необыкновенное, сказочное... Еще я знаю, что после войны, и революции, и Гражданской войны они жили все в той же квартире, так что моему отцу было куда с Гражданской войны возвратиться. То есть он просто пошел домой, как много раз рассказывал мне в моем детстве – и затем в своей старости, когда мы снова... или, может быть, впервые по-настоящему начали говорить с ним... просто, рассказывал мне Pierre Vosco, пошел к себе домой, когда в мае девятнадцатого года балтийский ландесвер (знаете, что это? спросил он меня совсем так же, как его отец меня некогда спрашивал, знаю ли я, кто такие дипийцы... переведем как *отряд земской обороны*, сам же он и ответил), когда, следовательно, балтийский ландесвер выбил из Риги большевиков, дома, впрочем, не задержался, да там никого и не было, вернулся туда лишь в двадцатом, после поражения Юденича. Его военная эпопея мне как раз известна в подробностях, говорил Петр Александрович, когда мы оторвались, наконец, от созерцания свайного молота, все мое детство только и было разговоров, что о войне, о Юдениче, о князе Ливене, полковнике Дыдорове, о ландесвере, о графе фон дер Гольце, графе Дона-Шлоббитене, майоре Бишоффе, Флетчере и как их всех звали. Мой дедушка с материнской стороны, du côté maternel, тоже был ливенец, говорил Pierre Vosco, они там и познакомились, мой отец и дед, в отряде светлейшего князя. Отец убежал в Либаву, когда ему еще и восемнадцати не было. Откуда убежал? Из Берлина. Потому что он сперва бежал с сестрой и родителями в Берлин от большевиков, а в Берлине уже убежал от родителей, завербовался в ландесвер и уехал в Либаву. Замечательно, что он вступил именно в русский отряд при германском ландесвере, я не знаю почему, то ли потому, что с фамилией Воскобойников сражаться за создание Великого Ливонского Герцогства все же немного смешно, то ли потому, что чувствовал себя скорее русским, чем немцем. Светлейшего князя Ливена они оба хорошо знали, и отец, и тем более дедушка, переписывались с ним до самой его смерти в конце тридцатых годов. Портрет его потом стоял у нас в гостиной на секретере; в детстве, помню, говорил П.А.В. с каким-то, вдруг, отсутствующим видом, словно он на мгновение провалился куда-то, в детстве мне все казалось, что он на меня и только на меня смотрит своими глубоко сидящими глазами. Глаза у него были как две пули после меткого выстрела... Ливен жил на хуторе, оставшемся у него от огромного когда-то имения, которое латышские власти и не думали ему возвращать. Был такой журнал, рассказывал Pierre Vosco, такой, скорее, журнальчик, с корявым названием «Служба связи Ливенцев и Северозападников», сразу видно, что не писатели, а военные его издавали. У нас дома были все выпуски этого журнала, дедушка сам печатал в них свои воспоминания, такие, знаете ли, говорил Пьер Воско, типические воспоминания военного, схемы сражений, даты походов. Все это сохранилось, конечно, говорил он, отвечая на мой вопрос, лежит где-то на чердаке, там, в Нормандии... В вашей замке? спросил я. В моем доме, ответил он сухо. А к Юденичу, рассказывал он, на мой вопрос отвечая опять же, отец попал очень просто, все с тем же отрядом светлейшего князя Ливена. Юденич, когда стал формировать в Ревеле свою армию, потребовал передать ему русские части, расположенные в остзейском крае. Только князь Ливен послушался. Не то, что Бермондт-Авалов, слышали это имя? Не слышали? Мое невежество его, похоже, порадовало. Был такой авантюрист, добавил он почти снисходительно. Как они ругали его, честили на чем свет стоит, особенно, конечно, мой дедушка. Отца все это не так уж и волновало, мне кажется, для него это был законченный эпизод его юности, перевернутая страница. А дедушка имени этого не мог слышать спокойно,

говорил Pierre Vosco, улыбаясь воспоминаниям. Бермондт и предатель, и войска к Юденичу не привел, и на латышей напал неизвестно зачем, и никакой он не князь Авалов, а самозванец и проходимец, и вообще лизал всю жизнь прусские сапоги. Они же проделали с отрядом Ливена весь поход на Петроград, стояли уже в Красном Селе. Жаль, что не взяли? Конечно, жаль, что не взяли, ответил Пьер Воско, впрочем, без всякого сожаления в голосе. Грустно? Ну, теперь грустить уже нечего. Страшное было отступление от Петрограда, вот это было что-то очень страшное, судя по всем рассказам... Моего дедушку, мамино отца, звали Петр Сергеевич Саламов, рассказывал Pierre Vosco, он не одну войну прошел, но еще и на Японской войне успел повоевать, и Великую войну отвоевал всю, от радостного начала и до позорного конца, а Гражданскую войну закончил в Нарве полковником. Юденич перед самым крахом собирался произвести его в генерал-майоры. Уже не успел. Мы снова вошли в Английский сад возле университета (у меня уже всю гудели ноги, я помню, но Pierre Vosco все шел и шел, как ни в чем не бывало), возвратились на Одеонсплатц и все-таки, к моему облегчению, закончили прогулку, поужинав в очень дорогом и шикарном (в другие он, мне кажется, не ходил) ресторане на шикарной Brienner Straße; к скуластой и коренастой кельнерше П.А.В. обращался на довольно хорошем, хотя и шипящем, как у всех французов, немецком, всякий раз называя ее *моя милая, meine Liebe*, отчего кельнерша вздрагивала и смотрела в мою сторону, словно прося у меня поддержки. Он сел спиной к окну, забранному белыми, атласными, парадно-складчатыми шторами, светившимися уличным светом. Свет тускнел по мере нашего с ним разговора; затем превратился в желтый, фонарный, сливавшийся с электрическим светом большой, в середине зала, настойчиво и неприятно искрившейся люстры... Нет, дедушку с отцовской стороны, Воскобойникова, он не знал, рассказывал мне Pierre Vosco, отвлекаясь от чтения огромного, на белоснежной плотной бумаге отпечатанного меню, этот дедушка Воскобойников, Николай Тимофеевич, умер в Риге в тридцать пятом или тридцать шестом году, он точно даже не знает в каком. Служил на железной дороге? Ну, он не просто служил на железной дороге, говорил Pierre Vosco, улыбаясь в ухоженные усы, он был, в общем-то, начальник этой железной дороги, был инспектором железных дорог Остзейского края, или как-то так называлась эта должность, был действительный статский советник, или как-то, опять же, так... Он сперва был начальником Либаво-Роменской железной дороги, была такая, вот это, говорил Пьер Воско, я запомнил из рассказов отца, а потом, очень скоро, начальником над всеми дорогами в крае. И в независимой Латвии он тоже был каким-то самым главным человеком на железных дорогах, так что они не бедствовали. А бабушку, да, бабушку я отлично помню, говорил Pierre Vosco, отец перевез ее в Париж вместе с сестрой, моей теткой, в самую последнюю минуту, в тридцать девятом, когда уже диктаторы договорились друг с другом и пресловутый пакт был подписан... Бабушка была строгая немецкая женщина, без эмоций, но к Гитлеру симпатий не питала, надо признать, и *домой в Рейх, heim ins Reich*, ехать бы все равно отказалась. И, значит, погибла бы в сороковом под советами, если бы отец мой не настоял на отъезде. Я в детстве ее побаивался, говорил Pierre Vosco, плоскими и широкими пальцами разглаживая скатерть перед собою. То есть я почти и не знал ее в детстве, она переехала в Париж, когда мне было четыре года от роду, говорил он с улыбкой, показывавшей, что он уже и сам не может представить себя четырехлетним дитятей, и что, конечно, я не могу этого, и что он понимает, что я не могу, да, четыре года от роду, а уже через год, или полтора года, мои бабушка и дедушка, то есть настоящие дедушка и бабушка, с маминой стороны, *du côté maternel*, увезли меня на юг, в свободную зону. Моя мать не поехала с нами, как мы ни уговаривали ее... Так что я, в сущности, познакомился с этой немецкой бабушкой только после войны... я, кстати, никогда не называл ее бабушкой, я вообще не знал, как называть ее, про себя прозвал ее фрау Эльза, но, конечно, никогда не обращался к ней так. Хотелось сказать ей *gnedige frau*, но мне бы этого не позволили, сочли бы насмешкой. Она жила возле парка Монсо, в хорошем квартале; какие-то были у нее деньги, вовремя переправленные во Францию. Денег



тогда не было ни у кого, мы все были бедные, должен сказать вам, всматриваясь в задумчивую даль, говорил владелец альпийского шале и нормандского замка. Жила она почему-то с подругой, компаньонкой, фрау Шенк, балтийской немкой, как и она сама, сухопарой старухой, очень молчаливой и очень доброй. Эта фрау Шенк моей бабушки, по-моему, тоже боялась, ее все боялись, кроме моего отца, я так думаю. Отца она баловала, а меня, мне кажется, не любила. Мы жили с бабушкой и бабушкой, с настоящими бабушкой и дедушкой, в Billancourt, где много жило тогда эмигрантов... Давайте с вами выпьем просто водки, как русские люди? По воскресеньям, рассказывал Петр Александрович, когда мы выпили с ним, действительно, водки, которую оробевшая скуластая кельнерша подержала, по его просьбе и настоянию, пять минут в морозилке, по воскресеньям полагалось ездить в русскую церковь на rue Daug, за этим моя бабушка, настоящая бабушка, Елена Васильевна, следила строго. Она-то как раз была не строгая, рассказывал Пьер Воско, про себя и в свои усы улыбаясь, но тут поблажки никому не давала, ни мне, ни дедушке. Она даже не была очень набожной, вот что странно... А после службы отец, сам ни на какую службу не ходивший, ни на лютеранскую, ни на православную, забирал меня к моей немецкой Großmutter, фрау Эльзе, обедать или пить кофе с кухнями, приготовленными сухой компаньонкой. Почему-то иногда мы обедали, а иногда только пили кофе, и тогда обедали сначала вдвоем в ресторане. Какой был отец в те годы? Отец был грустный и отстраненный, вот какой, или таким он вспоминается мне, сказал Пьер Воско, отвечая на мой вопрос. Да, снова сказал он, как будто еще подумав, еще точнее вспомнив, в те годы, перед Аргентиной, отец был грустный, отстраненный и озабоченный чем-то, вот именно так, отстраненный и озабоченный. И все время рисовал что-то в своем блокноте, и тут же зачеркивал то, что нарисовал. Эскизы домов, которые не верил, что построит когда-нибудь... Водки мне в ту пору, конечно, не полагалось, а сам он выпивал из графинчика, говорил Пьер Воско, вертя в широких пальцах свою стопку, уже пустую. Русских ресторанов в Париже тогда еще было много. Иногда он словно вспоминал вдруг, мне кажется, что вот ведь перед ним его сын и надо попытаться найти общий язык с этим сыном, начинал меня расспрашивать о моей жизни, о лице, о моих грибных подвигах. Я тогда уже увлекался грибами. Я увлекся собиранием грибов во время войны, когда мы жили в свободной зоне, в Пиренеях, на ферме моего дяди, мамино двоюродного брата, попытавшегося воссоздать в эмиграции родное Владимирское имение... Там были горы и были грибы, две страсти всей моей жизни, рассказывал Pierre Vosco, обнаруживая способность шутить, которой я не предполагал в нем. Но с отцом, рассказывал он, я сблизиться в ту пору не мог. В глубине души, как я теперь понимаю, я винил его в гибели моей матери. Мать была героиня, а отец получался злодей... Я и вправду лишь в последние годы его жизни научился разговаривать с ним, или он, может быть, научился разговаривать со мной, я не знаю, в моем детстве и отрочестве, как бы то ни было, мы разговаривать друг с другом еще не умели, рассказывал мне Пьер Воско, так что уж лучше было идти поскорее пить кофе к Großmutter, и я на всю жизнь возненавидел, признаться, этот жидкий немецкий кофе и кислый яблочный пирог с приторными взбитыми сливками. Я вообще ненавижу сладкое, должен вам доложить, сообщил он, улыбаясь не без самодовольства, даже в детстве я не ел никаких этих, знаете, пряников, никаких этих, знаете ли, конфет. На обед же у фрау Эльзы подавалась страшная вещь под названием Linseneintopf, род чечевичной похлебки с нарезанными и накиданными в нее сосисками, первое и второе блюдо одновременно. Фрау Эльза, рассказывал Пьер Воско, принимаясь за ростбиф, принесенный ему смущавшейся по-прежнему кельнершей, фрау Эльза утверждала, что Франция вообще грязная, и французские длинные булки, baguettes, норовила обжарить на открытом огне, на газу, то есть просто брала такую baguette, разрезала на несколько кусков, натыкала их на длинную вилку и держала на огне, покуда они не начинали обугливаться. Но горячими есть не давала, горячий хлеб вреден будто бы для здоровья. Получались горелые сухари, вот и все. Croissant вообще был в ее глазах непροстительной роскошью и символом галльского декадентства, французский сыр,

как это? *camembert* или *brie*, тоже считался вредным, *gosfort* гнилью и гадостью. Говорила она только по-немецки, доложу вам, громко и решительно, на улице тоже, в лавочке тоже. Они нарочно, мне кажется, громко говорили по-немецки на улице, она и фрау Шенк, то есть фрау Шенк и хотела бы, наверное, говорить не так громко, но фрау Эльза сразу делала вид, что не слышит, и сама начинала кричать. Можете себе представить, как после сорокового года смотрели на них соседи, как смотрели в сорок четвертом. Сразу после освобождения какие-то гавроши, *gavroches*, пытались с ними расправиться... Запугать ее было трудно. Между прочим, во время войны оказалось, что фрау Шенк наполовину еврейка, чего по ней совсем незаметно было. Все-таки их не тронули... Я только теперь, состарившись, стал понимать, что она была не такая уж карга и гримза, как мне казалось в детстве, говорил *Pierre Vosco*, разрезая свой ростбиф. Руки его двигались уверенно, с сознанием своей правоты... У нее тоже, говорил он, было свое романтическое прошлое. Вышла же она за моего дедушку Воскобойникова, русского и незнатного, пускай в чинах, но все же внука заводчика из-под Пензы, взяла и вышла, к ужасу своей баронской родни. То есть, кажется, просто влюбилась и вышла замуж, ни у кого не спросившись. Правда, сына отправила в немецкую гимназию, а дочь в немецкую *Mädchenschule*, настояла на этом. Еще отец мне рассказывал, в свою очередь рассказывал мне Пьер Воско, что она занималась благотворительностью, сурово и тихо, всю свою жизнь, впрочем, как мой отец выражался, в соответствии с собственными, довольно оригинальными представлениями о нужном и должном. Пастор ее прихода отбирал для нее добропорядочных бедных девиц, она с ними беседовала, и если девица нравилась, снабжала ее приданым. Иногда и жениха ей подыскивала. И очень бывала недовольна, знаете ли, если девица отказывалась идти за того, за кого она, мадам Воскобойникова, урожденная баронесса Фитингоф, ее выдавала. Словом, самоуправствовала. Все это в Риге двадцатых и тридцатых годов уже было совершенным анахронизмом, как вы понимаете. Это годилось для ее собственной бабушки, моей, следовательно, прапрабабки, добавил *Pierre Vosco* с какой-то, показалось мне, иронической гордостью, тоже, разумеется, баронессы, не выезжавшей, будто бы, из своего замка под Газенпотом, потому как ничего хорошего в мире все равно нет, а если кому нужно, то к ней пускай приезжают. И приезжали, между прочим. Со всей Курляндии съезжались к ней на охотничьи партии, *parties de chasse*... нет, так нельзя сказать по-русски... на охоту, скажем просто и кратко. Она сама была знаменитая охотница, эта моя прапрабабка, и трубку, говорят, курила, и шнапс пила не хуже любого мужчины. Все это уже из области преданий. Таких преданий было много. Когда кофе бывал выпит, фрау Эльза начинала рассказывать мне в поучение, какая замечательная была жизнь у них там в Курляндии. Меня это совсем не трогало, да и понимал я по-немецки довольно плохо. Это были рассказы какие-то прямо... эпические, говорил *Pierre Vosco*, вновь улыбаясь воспоминаньям (я подумал, что его французской жене, французским же сыновьям никакого дела нет, наверное, до всех этих эпических рассказов, курляндских легенд...). Все предки, и родственники, и даже знакомые, и даже знакомые знакомых – все это были, если верить ей, богатыри и герои, бесстрашные воины, великолепные наездники, замечательные охотники, хлебосолы, острословы, красавцы. А все женщины, конечно, красавицы. Вообще у нее получалось так, что только балтийские немцы хорошие, все остальные не очень. Латышей и эстонцев она презирала как неотесанных мужиков, латыши, по ее словам, были вообще не народ, а так... племя, *der Stamm der Letten*, говорил, уже прямо смеясь, баском, Пьер Воско, но и к не балтийским, *имперским* немцам, к *Reichsdeutschen* большой любви она не испытывала, называла их всех педантами, обывателями, а после войны и садистами. Лучше всего она относилась, наверное, все-таки к русским. Да и считала себя до самой смерти, как многие балтийцы, подданной *русского кайзера, царя, des russischen Kaisers, des Zaren*, никаких других государей и государств, в общем, не признавала. К французской республике относилась с презрением. Но и русские, ясное дело, никакого сравнения не выдерживали с балтийскими немцами, балтами, как она называла их. Балты, *die Balten*, вот это были люди, не люди, а настоящие рыцари.

Вот у них бы никогда не было ни большевиков, ни нацистов, они бы не допустили. Читала она почему-то одного Шиллера... или так мне это запомнилось. С большим чувством декламировала на память *Die Kraniche von Ibykus*, по-русски это как называется? *Ивиковы журавли*, вот как? и требовала, чтобы я восхищался. А я не восхищался, я и не понимал половины, хотя на всю жизнь запомнил, конечно, что *es gestehn die Bösewichter, getroffen von der Rache Strahl*. Мне вообще все это было совершенно не нужно, говорил Pierre Vosco. Стыдно сказать, но я в свои четырнадцать лет даже как-то не заметил ее смерти, так был занят своим и другим. Просто прекратились вдруг эти воскресные визиты, этот кислый кофе с апфелькухеном, эти рассказы о балтийских богатырях. А потом и отец уплыл в свою Аргентину. А фрау Шенк, между прочим, дожила до неправдоподобно-глубокой старости, отец потом навещал ее, когда вернулся в Париж, раз в месяц, все в той же квартире.

Мои родители, рассказывал Pierre Vosco, познакомились в самом конце двадцатых или, может быть, в тридцатом году. Отец вообще нередко навещался в Париж, по архитектурным ли делам или по делам бывших ливенцев, я не знаю, говорил Петр Александрович, покончив с ростбифом, разглаживая усы. Я только знаю, что ему было тесно и скучно в Риге, хотелось в большой мир, на европейский простор. Он строил вообще немало, строил пакгаузы в Виндаве, тогда уже Вентспилсе, гимназию в Гольдингене, тогда уже Кулдиге, частные дома в Риге и в Туккуме. Я кое-что из этого видел, когда ездил в Латвию в прошлом году, говорил Петр Александрович, разгладив усы, принимаясь разглаживать скатерть. Хорошая солидная работа, функционализм с элементами ар-деко, скажем так. Но это еще не он, не его стиль, не его ритм. Он участвовал даже в строительстве знаменитого рижского рынка, переделанного из цеппелиновых немецких ангаров, но все-таки на вторых ролях, под началом Павла Дрейманиса, своего товарища по университету. В общем его обходили, или так он смотрел на это, так чувствовал. Тот же Дрейманис, всего на пару лет его старше, уже был знаменитостью, главным рижским модернистом... Никакого десерта, только эспрессо, объявил он скуластой кельнерше с таким высокомерно-возмущенным видом, что уже не мольбу о поддержке, но крик о помощи прочитал я в ее глазах... Что же до, собственно, знакомства его родителей, рассказывал П.А.В., то состоялось оно в синематографе где-то на Монпарнасе, куда его дедушка, полковник Саламов, пошел со своей дочерью Ниной, его, Петра Александровича, будущей мамой, посмотреть новую фильму Чаплина. Теперь говорят *фильм*

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.